

А.А. Турилов, *Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян: Этюды и характеристики*, Знак, Москва 2012, с. 808.

К сожалению, формат данного обзора едва ли позволяет дать достаточно полное представление о новой книге А.А. Турилова, являющейся собранием более сорока статей разных лет, выходявших в последние двадцать лет и посвященных истории славянской книжности эпохи средневековья, межславянским культурным связям, истории памятников, переводившихся, создававшихся и бытовавших в пространстве, которое автор определяет как *Slavia Cyrillomethodiana* (термин, предложенный Р. Марти).

Это уже не первый подобный сборник работ Турилова – в 2010 году вышла книга *Slavia Cyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья* (М. 2010), а в 2011 – *От Кирилла Философа до Константина Костенецкого и Василия Софийнина. История и культура славян IX-XVII вв.* (М. 2011). В новую книгу вошел ряд статей, опубликованных в двух предыдущих. Вместе с многочисленными работами, в прежние сборники не вошедшими, и при новой по сравнению с предыдущими сборниками организацией разделов, они составляют значительную часть масштабной картины славянской средневековой книжно-письменной культуры. Сборник позволяет во многом по-новому взглянуть на целый ряд проблем, по-прежнему остающихся актуальными (а в некоторых случаях и нерешенными) в славистике.

Основные темы, намеченные уже в первых двух сборниках – такие как южнославянское и восточнославянское влияния, роль Древней Руси и Сербии в развитии и сохранности древнейших пластов славянской книжности, возможности реконструкции кирилло-мефодиевского корпуса и т.д. – в новом сборнике эксплицитно обозначены в соответствующих разделах и дополнены новым богатым материалом.

Диапазон памятников, исследованных, представленных или лишь упомянутых в книге, охватывает обширное географическое пространство – по сути всю *Slavia Orthodoxa* – и длительный временной отрезок: от так наз. “старославянского канона” до XVII в. Привлекаются как малоизвестные в науке памятники (во многих случаях впервые открытые автором), так и давно введенные в научный оборот, в которых автор нередко обнаруживает ценнейшие сведения, оставшиеся по тем или иным причинам незамеченными или интерпретированными ошибочно предшествующими исследователями. Помимо этого, в сборнике впервые опубликован ряд текстов, с примечаниями и комментариями, в частности, слово *О похвале Богоро-*

дице Кирилла Философа по списку ГИМ, Музейск. № 1779, текст службы Мефодию и Канона Климента Охридского на Успение по списку ГИМ. Хлуд. 156.

Первый раздел посвящен судьбам Кирилло-Мефодиевского наследия в национально-региональных (термин автора) традициях. На основании текстов, представленных целиком или лишь фрагментарно в дошедших до нас рукописях разного времени, автор пытается реконструировать или по крайней мере уточнить состав древнейшего пласта славянской книжности.

Вопрос о так называемом “старославянском корпусе” до сих пор остается предметом дискуссий ученых и не имеет однозначного решения. В ряде работ, в частности в работе *После Климента и Наума*, автор вновь обращается к этой проблеме, анализируя положения, выдвинутые как современными учеными, так и основоположниками славистики XIX – начала XX столетий, во многом остающиеся актуальными и сегодня.

Ряд статей посвящен древнейшим памятникам славянской гимнографии, которая, несмотря на значительный вклад прежде всего болгарских и западных исследователей, остается областью недостаточно изученной.

Оригинальные произведения создавались, скорее всего, как дополнение к переводным, считает автор. Процесс формирования славянской литературы как “славяноязычного аналога византийской церковной литературы” продемонстрирован в ряде работ, которые, хотя и посвящены в основном анализу и истории конкретных памятников, в совокупности позволяют увидеть начальный этап формирования славянской гимнографии и ее последующее развитие в восточно- и южнославянской книжности.

Так, в работе *К уточнению объема и состава древнейшего славянского оригинального гимнографического корпуса в древнерусской традиции* на основе текстов канонов, содержащихся в разных списках праздничных Миней, прослеживается судьба гимнографического наследия учеников Кирилла и Мефодия в восточнославянской традиции. Восстанавливается нарушенный в позднем древнерусском списке акростих канона Андрею Первозванному Наума Охридского, известный по южнославянским рукописям, уточняется ряд чтений в каноне Константина Преславского и др. Это позволяет не только приблизиться к реконструкции первоначальных текстов древнейших памятников, но и по-новому взглянуть на состояние древнерусской и южнославянской письменности и их взаимоотношений (взаимовлияния).

Взаимовлияния восточнославянской и южнославянской книжно-письменных традиций – тема, разрабатываемая автором на протяжении многих лет. В особенности это относится к так называемому “восточнославянскому влиянию” (на которое указывал еще М. Н. Сперанский), почти столь же значимому для истории славянской письменности и судьбы славянских литератур в целом, как южнославянское, хотя и описанному в славистике в гораздо меньшей степени. Автор предлагает следующую периодизацию “влияний”:

I южнославянское влияние	(конец X-XI вв.)
I восточнославянское влияние	(XII-XIII вв.)
II южнославянское влияние	(конец XIV-XV вв.)
II восточнославянское влияние	(XVI-XVIII вв.)

Восточнославянское влияние связано с активизацией культурных и политических связей, в результате которых целый ряд восточнославянских рукописей переписывается южными славянами. Это происходит в период XII-XIII вв., между возрождением болгарской и сербской государственности и монголо-татарским нашествием.

Если второе южнославянское влияние имеет ярко выраженные признаки в орфографии, оформлении и составе рукописей, то первое восточнославянское влияние, при котором в балканские страны попадает значительное число памятников, бытовавших длительное время в Древней Руси (в т. ч. памятники, попавшие в свое время к восточным славянам с юга (1-е ю-сл. влияние), при всей своей значимости не выявляется без подробного индивидуального анализа отдельных памятников. Как именно и где мог происходить “культурный обмен”, чем определялся выбор “воспринимающей” стороной тех или иных текстов – ответы на эти вопросы можно найти лишь детально, как это делает автор, исследуя каждый памятник, причем во всех аспектах – от оформления и орфографии до упоминаемых исторических событий, конкретных лиц, имен, топонимов.

Что же касается “второго южнославянского влияния”, его признаки столь очевидны, что не вызывают сомнений даже у тех исследователей, которые отрицают само понятие “южнославянского влияния”. Гораздо сложнее дело обстоит с интерпретацией и оценкой феномена: хронологические границы, состав текстов, пришедших в древнерусскую книжность с вторым южнославянским влиянием, идеологические причины, исторические предпосылки и факты, обусловившие новую ориентацию восточнославянских книжников, значение этого события для всей славянской письменной культуры. В статье “Болгарские литературные памятники эпохи Первого царства” автор полемизирует с И.И. Калигановым, придерживающимся гипотезы “перманентного болгарского влияния на русскую книжность в X-XVI вв.” Прослеживая судьбу таких сборников (макротекстов), как Стишной Пролог и Торжественник триодный и минейный, автор показывает взаимодействие древнего и нового литературных болгарских пластов в восточнославянской традиции.

Четвертый раздел книги полностью посвящен истории и интерпретации “второго южнославянского влияния”, но и в работах, включенных в другие разделы автор так или иначе касается этого вопроса.

Основная идея автора состоит в том, что активизация интереса восточнославянских книжников к древнейшему наследию Первого Болгарского царства связана прежде всего “с характером развития восточнославянской книжности этого периода в целом”, в частности, с актуализацией аскетической литературы, активно усваивавшейся из южнославянских источников в процессе монашеского возрождения у восточных славян.

“Выяснение причин, вызвавших резкий рост числа восточнославянских списков древнейших болгарских литературных памятников, – заключает автор, – открывает перспективы для изучения региональных особенностей бытования этого фонда у восточных славян в эпоху позднего Средневековья, прежде всего по линии сопоставления традиций Московской Руси (известной сравнительно неплохо) с ситуацией в Великом княжестве Литовском и речи Польшитой (аспекта, практически не исследованного)”.

Отмечая заслуги польских и литовских исследователей, обратившихся к этой теме и описавших большое число памятников, Турилов вносит значительные поправки в интерпретацию и теоретические построения коллег. Необходимо – указывает автор – в рассматриваемом корпусе памятников разграничить два хронологических пласта: тексты времен Первого Болг. Царства и памятники периода XIII-нач. XV в., отражающих “специфику самостоятельных связей разных восточнославянских регионов с южными славянами и с Молдавией XV-XVI вв.,” хотя разница выражена “не в контрастах, а в нюансах”. Нюансы эти показаны автором на материале исследования бытования хроник, агиографических и гимнографических сочинений в сравниваемых региональных ветвях книжности.

В новом сборнике, по сравнению с двумя предыдущими, значительно расширен раздел, посвященный “сербскому компоненту”. К сербскому материалу, прежде всего агиографическому и гимнографическому, и к роли Сербии как “подлинного заповедника древнейших славянских литературных памятников” автор обращается во многих работах.

Сербские тексты, с одной стороны, занимают важное место в истории восточнославянской письменности, с другой – представляют ценный материал для реконструкции древнейшего корпуса славянской письменности, сохраняя тексты, восходящие к великоморавской эпохе и традиции.

Из всех Балканских регионов в Сербии, по утверждению автора, ситуация была наиболее благоприятной для сохранности древнейших текстов. Действительно, почти все небогослужебные южнославянские памятники XIII-XIV вв. находятся в сербских списках. Причины наилучшей сохранности древнейшего корпуса именно в Сербии – достаточно стабильная по сравнению с другими странами внутри- и внешнеполитическая ситуация, а также наличие за пределами страны собрания Хилендарского монастыря. Лучшая же сохранность небогослужебных текстов по отношению к литургическим связана с минимальным влиянием на них смены Устава.

Немаловажной представляется и роль непосредственных связей восточных славян с Сербией в период “второго южнославянского влияния”, хотя они и были менее интенсивными, чем связи с Болгарией.

“Болгарский” раздел, включающий многие статьи, не вошедшие в предыдущие сборники и малодоступные широкому кругу читателей, посвящен прежде всего тырновской книжной традиции. Несколько работ посвящены уточнению датировок и атрибуций почерков рукописей в большей степени некаллиграфических, рядовых, “составляющих своеобразный фон роскошных [...] кодексов, созданных в столице Второго болг. царства [...]”. Эти исследования крайне существенны и для изучения тырновского книгописания первой четверти XIV в.

Говоря о национально-региональных ветвях славянской книжности автор анализирует причины сохранности славянского книжного наследия именно у восточных славян – т.е. в “культуре-наследнице”, “постумной” по отношению к южнославянской – и уточняет состав корпуса текстов, общего для всей *Slavia Orthodoxa* (т.н. “пласт-посредник”).

В заключение достаточно подробного обзора книжности в разных ветвях *Slavia Orthodoxa*, представленного в статье “Судьба древнейших славянских литературных памятников в средневековых национально-региональных традициях”, автор определяет для каждой “верхнюю хронологическую грань, за которой древнейшие памятники продолжают тиражироваться, но уже не появляется неизвестных в предшествующее время текстов или их ранних редакций”. Это 3-я четверть XIV в. для тырновской Болгарии, конец XV в. для Македонии и XVI в. для Сербии и Руси.

Таким образом, в книге дается достаточно подробное описание различных пластов славянской книжной культуры от истоков (т.е. Кирилло-Мефодиевского периода) до позднего средневековья и показано взаимовлияние региональных традиций, т.е. движение памятников во времени и пространстве, создающее, в конце концов, общий фонд письменности *Slavia Orthodoxa*; обозначены перспективы и направления дальнейших исследований в области древнейшей славянской книжно-письменной культуры.

В конце книги даны удобные указатели всех рукописей, упоминаемых в издании, с указанием места хранения, именной и географической указатель. Существенный фактический материал вынесен в примечания, делая, таким образом, книгу с одной стороны легкой для чтения, с другой – ценнейшим источником информации.

Также прилагается список первых публикаций вошедших в сборник статей.

Хотелось бы добавить, что сборник посвящен светлой памяти О. А. Князевской (1920-2011), многолетняя научная деятельность которой была и остается образцом для славистов следующих поколений.

Маргарита Живова

P. Gonneau, A. Lavrov, *Des Rôles à la Russie. Histoire de l'Europe orientale (v. 730-1689)*, Presses Universitaires de France, Paris 2012, pp. 687.

Il volume che presentiamo risulta un'opera di primaria importanza nel panorama delle edizioni accademiche europee. La necessità di strumenti che uniscano rigore scientifico, sinteticità e chiarezza espositiva, rivolti non solo alla cerchia degli addetti ai lavori, ma anche a studenti e specializzandi, è avvertita quale esigenza comune da quanti sono impegnati nell'alta divulgazione della conoscenza del mondo slavo.

L'opera di Pierre Gonneau e Aleksandr Lavrov, fresca di stampa (maggio 2012), è scritta in un francese erudito e brillante che rende piacevoli le discettazioni storiche e la ricostruzione di eventi e vicende, risultato che solo studiosi del calibro dei nostri autori riescono a conseguire.

La breve introduzione (pp. 3-8) costituisce un saggio fondamentale sulla dibattuta questione terminologica relativa ai nomi della prima entità statale slavo-orientale, e ai significati che i termini Rus', Russia, *Russia* (lat.) assumono nelle diverse epoche storiche e nell'accezione delle varie correnti storiografiche che hanno affrontato l'argomento. Senza perdere di vista il legame con il passato recente e l'attualità, gli autori conducono il lettore a comprendere le diverse definizioni adottate per riferirsi specificamente al popolo e allo stato russo, ai territori da esso occupati, alle sue forme di organizzazione sociale. L'argomento è presentato nella sua complessità, e ciò desta interesse e desiderio di approfondire. A p. 4-5 gli autori dichiarano di utilizzare l'espressione "Russia de Kiev" come equivalente del russo *Kievskaja Rus'* (che sarebbe in realtà più corretto tradurre con Rus' de Kiev), cioè in riferimento al patrimonio storico comune alle odierne Russia, Bielorussia e Ucraina. Nel volume, accanto a tale definizione si trova anche la versione francesizzata "Russie de Kiev", sempre nella medesima accezione.

Le pagine successive (pp. 9-68) ospitano una bibliografia ragionata, non completa, ma sicuramente molto ricca, che indica sia le fonti dirette disponibili per lo studio della storia delle terre slavo-orientali, sia le opere che indagano il tema sotto i profili storico, giuridico, religioso, artistico. Le 1361 indicazioni bibliografiche sono organizzate con chiaro intento didattico in 14 rubriche (1. Repertori, bibliografie e dizionari; 2. Riviste e collezioni specializzate; 3. Fonti scritte; 4. Archeologia, Geografia storica, Architettura, Arti; 5. Opere generali e raccolte di articoli sul mondo sull'Europa orientale e il mondo russo fino al XVII secolo; 6. La Russia di Kiev; 7. Novgorod e Pskov; 8. Dalla Russia del nord-est all'Impero russo; 9. L'impero dei primi Romanov; 10. Campagne, colonizzazione ed economia agraria, demografia; 11. Città e commercio; 12. La società; 13. Tempi e territori della Chiesa; 14. L'eredità culturale: letteratura antico-russa e storia della mentalità) che in parte corrispondono ai contenuti dei capitoli che seguono, e offrono un prezioso e agevole strumento di consultazione nella ricerca di materiali sui temi indicati. Nella premessa a questo elenco (pp. 9-11)

gli autori non mancano di menzionare le difficoltà legate alla scarsità di notizie e attestazioni scritte sul periodo più antico di esistenza degli slavi, nonché quelle dovute alla frammentaria e spesso non pienamente ricostruibile storia della tradizione manoscritta dei testi slavo-orientali, che interessano anche i secoli successivi.

Il corpo fondamentale del volume ripercorre in 6 capitoli, in ordine cronologico, le vicende storiche dall'età delle origini (730-980) alla Russia dei primi Romanov (1613-1689). Non sfuggirà allo specialista che fissare all'anno 730 l'inizio della trattazione indica una precisa volontà di unificare gli esiti delle indagini storiche, filologiche e antropologiche, che molta letteratura sin qui ha tenuto distinti (si pensi al taglio profondamente diverso di volumi come quello di A. Schenker o di F. Conte, rispetto ai manuali di storia della Russia di N. Riasanovsky e di V. Giterman). Anche questa sezione conserva l'impianto di sistematizzazione razionalmente organizzata della grande quantità di dati a tutt'oggi conosciuta e il carattere fortemente (e utilmente!) didascalico cui abbiamo accennato sopra: i fatti vengono illustrati nella loro versione leggendaria, per essere poi seguiti dai dati archeologici e dalle testimonianze delle fonti straniere, e infine dalle conclusioni cui si può giungere. Le vicende narrate sono opportunamente collocate all'interno della storia europea, con espliciti riferimenti alle conoscenze dei non slavisti e alla formazione liceale (si veda ad esempio la contestualizzazione dell'origine della Rus' all'epoca di Carlo Martello e Pipino il Breve a p. 75); anche i legami con l'Occidente e con Bisanzio emergono con chiarezza (cf. p. 110); il giudizio è sempre molto equilibrato e considera, specialmente per la fase più antica, sia il retaggio dell'oralità, che l'importanza della tradizione religiosa nella formazione della civiltà slavo-orientale (cf. pp. 75-76, p. 127). La prospettiva russo-centrica è sovente abbandonata in favore di uno sguardo ampio, che abbraccia l'evoluzione del mondo slavo nel suo complesso.

La terza e ultima parte del manuale affronta in prospettiva diacronica una serie di problematiche trasversali: Coesione e diversità nella Rus' di Kiev (cap. 7), L'economia rurale (cap. 8), Città e commercio (cap. 9), La società moscovita all'alba della modernità (cap. 10), Tempi e territori della Chiesa (cap. 11), L'eredità culturale (cap.12). In questa sezione risulta palese il lavoro di sintesi condotto dagli autori allo scopo di condensare in poche centinaia di pagine decenni di ricerche scientifiche loro e di molti colleghi, volte all'indagine di aspetti poco noti della storia della civiltà slava. Trova spazio qui, ad esempio, un paragrafo sulle città della Rus', entità dalla fisionomia complessa, per alcuni aspetti riconducibile a quella delle città-stato (cf. pp. 416-417). Non manca, poi, l'approfondimento di quella parte dei rapporti tra la Rus' e il mondo occidentale che per alcuni secoli si gioca sulle rive del Baltico (cf. pp. 424-438). Ancora, l'ampio capitolo dedicato alla Chiesa (pp. 481-530) ben chiarisce l'intreccio dei rapporti tra Oriente e Occidente prima del grande scisma (1054), nonché l'evoluzione e l'affermarsi nelle terre della Rus' di una Chiesa autocefala. Infine, a proposito della cultura antico-russa, il concetto di "barocco" entra a pieno titolo nella terminologia adottata dagli autori, per definire l'originalità di alcune manifestazioni letterarie e artistiche del XVII secolo (cf. p. 569).

Il volume è corredato da una cronologia essenziale, si pregia di un'appendice illustrata contenente cartine storico-geografiche e riproduzioni di fonti scritte, mappe topografiche delle città e monumenti architettonici. Gli indici dei luoghi e dei nomi agevolano la consultazione dell'opera.

Maria Chiara Ferro

K. Meller (a cura di), *Humanizm polski. Klasycyzm, Estetyka – Doktryna literacka – Antropologia*, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, pp. 648.

Una delle qualità più notevoli del volume che qui recensiamo, composto da studi di non pochi specialisti e che riteniamo, diciamolo subito, ottimo è la coerenza interna, l'unità strutturale, la visione d'insieme di un problema così complesso quale quello del classicismo – polacco ed europeo. Infatti, pur conservandosi udibile l'originalità e l'autonomia di ogni singolo autore, si è riusciti a riversare sulle pagine il fermento, la condivisione di intenti, il dialogo che animarono il convegno del 1 e 2 dicembre 2008 a Poznań, organizzato dal dipartimento di Filologia polacca e classica dell'Università Adam Mickiewicz. Da questo evento scaturirà poi il libro in questione, come ricorda la curatrice, Katarzyna Meller (p. 14). Il fermento di cui dicevamo, l'entusiasmo e soprattutto il fecondo dialogo tra gli studiosi è evidente sulla pagina. Le linee portanti e unificatrici sono state ben individuate dalla curatrice (pp. 10-11): il classicismo non può (e non lo è stato qui) essere studiato solo come fenomeno artistico, estetico o come corrente; esso viene inteso prima di tutto come un progetto antropologico, un'idea di uomo e di umanità profondamente radicata nella storia europea. Questo ci pare il *fil rouge* che lega tutti gli interventi proposti. Altro elemento di coesione è l'attenzione degli autori, a volte più evidente, a volte sottotraccia ma comunque sempre presente, al contesto europeo, quasi a voler ribadire l'appartenenza, di diritto e di merito, della Polonia al grande dibattito culturale europeo. Cade dunque a proposito la scelta di concedere l'ultima delle cinque sezioni in cui è articolato il volume a tre insigni polonisti stranieri – Sante Graciotti, Rolf Fieguth e Maria Delaperrière – che studiano il classicismo polacco “da una prospettiva europea” (p. 543), appunto. Graciotti, partendo dalla constatazione che la riscoperta della cultura antica è tratto peculiare e distintivo del Rinascimento, dimostra come tale rapporto con l'antichità, il modo di confrontarsi con essa, possa essere utile strumento ermeneutico per caratterizzare il Rinascimento stesso rispetto ad altre epoche, e specialmente quella medievale e barocca, nonché, con procedimento inverso, queste nei confronti del Rinascimento. Il contributo di Fieguth fornisce le linee guida per una ricerca sul classicismo europeo del XIX secolo. Non si può che auspicare, con lo studioso, che il problema di uno studio comparato tra i vari classicismi europei, qui molto bene impostato, si concreti quanto prima. Delaperrière infine, traccia un parallelo tra l'idea eliotana di classicismo e quella francese, nella sua evoluzione da Valéry allo strutturalismo. Ne emerge, anche se con sfumature, la sostanziale preminenza, nella poesia polacca novecentesca (Miłosz, Herbert, Szymborska), del classicismo eliotano, ovvero di un classicismo più storico che formale, più etico che artistico: per gli autori in questione esso costituisce la coscienza di un legame profondo con la cultura europea e insieme un'aspirazione all'ordine, all'equilibrio, alla bellezza nella, e a causa della, tragicità del XX secolo. Questo contributo integra perfettamente le pagine dedicate da Agata Stankowska a Miłosz: *Miłosz – klasyk?* [Miłosz – un classico?] e da Beata Przymuszała a Herbert: *Lekcja Herberta* [La lezione di Herbert]. Nel primo articolo l'autrice si concentra sulla particolarità del classicismo di Miłosz, sostanzialmente vicino all'impostazione di Eliot nell'essere la coscienza di una tradizione; nonostante le riserve del poeta polacco quando Eliot pare indulgere troppo alle oscurità simboliste (p. 490). Per Miłosz non si tratta dunque di resuscitare l'antichità, e nemmeno di rinnovarla, quanto piuttosto della difficile conquista di un ordine e di un equilibrio che erano stati propri della classicità ma che nel presente del poeta non possono che essere diversi. Un tendere alla perfezione – comunque mai raggiungibile – che assomiglia molto al tentativo del Cristiano di raggiungere la perfezione divina. Entra così in gioco la religiosità del poeta che finisce per investire la sua poesia di una mis-

sione etica, cioè quella di “antropomorfizzare” il mondo (p. 485) per poterlo conoscere, per poterlo comunicare ai lettori. Di Herbert vengono messi in luce alcuni aspetti del suo classicismo, problema tutt’altro che pacifico. Anche per lui essere un classicista non significa vivere al di fuori della storia, non è una fuga all’indietro, ma al contrario essere nella storia e in mezzo agli altri, significa trovare una lingua che permetta di comunicare con gli altri (p.506); è un modo partecipato, empatico e non compassionevole di comunicare la verità – e il dolore – degli altri (pp. 501-502). Questi tre ultimi articoli che abbiamo discusso ci paiono un ottimo esempio, tra i molti che si potrebbero fare e che per motivi di spazio non possiamo riportare qui, di quel dialogo e di quella reciproca complementarietà che caratterizzano l’intera raccolta.

Per quanto concerne invece le epoche precedenti – come anticipato il volume è scandito in cinque sezioni, che si succedono in ordine cronologico dal Rinascimento all’età contemporanea – la chiave di volta della questione “classicismo” è stata giustamente individuata dagli autori nel periodo romantico, ciò che ha comportato, conseguentemente, la preparazione di un’autonoma sezione dedicata al secolo XIX e sulla quale non possiamo soffermarci come meriterebbe. Vorremmo ricordare almeno l’ampio spazio concesso a una figura affascinante e problematica come quella di Norwid, indagato da Rolf Fieguth (*Od Pompei do Quidama. Z problemów klasycyzmu norwidowskiego*) [Da Pompea al Quidam. Problemi del classicismo di Norwid], Krzysztof Trybuś e Anna Jaworska (*Klasycyzm jako idea estetyczna i forma objawienia się idei humanizmu w drugiej połowie XIX wieku. Album Orbis Cypriana Norwida*), [Il classicismo come idea estetica e forma della manifestazione dell’idea di umanesimo nella seconda metà del XIX secolo. *Album Orbis* di Cyprian Norwid]. Trybuś nel suo intervento *Norwidowski klasycyzm – zarys problemu* [Il classicismo di Norwid – Un abbozzo del problema], si sofferma sul rapporto problematico dell’autore con il romanticismo. Fino a quando tale rapporto rappresenta una viva continuazione del magistero romantico? Quando inizia ad essere sentito come una tradizione da guardare con distacco? Il punto di rottura è individuato nel *Quidam*, poema di un eroe antiromantico – e autobiografico (p. 377) – quasi un rito di passaggio verso la fase successiva della sua opera. Non potendo seguire qui l’autore nei suoi ragionamenti, va segnalata la notazione metodologica di considerare non soltanto il Norwid del ventennio mirabile che va dagli anni ’50 agli anni ’70 e durante il quale videro la luce opere come il *Quidam* e *Vademecum*, nonché le opere teatrali, ma anche quello degli anni precedenti, ammiratore e a sua volta ammirato del classicista Kajetan Koźmian (p. 379); infine va tenuta presente l’indissolubilità, in Norwid, di classicismo e romanticismo, senza incorrere nell’errore di voler dividere a forza ciò che è intimamente legato: quella commistione di stili presente nelle sue opere, ad esempio l’intreccio di dramma ed epica (generi classici), si spiega solo alla luce dell’ironia e della digressività di ascendenza romantica. Sarebbe inutile cercare in questo la dicotomia di un Norwid “classicista” e un Norwid romantico (p.384).

Altrettanto importanti sono le sezioni del libro dedicate al lungo periodo che va dal Rinascimento all’Illuminismo. I primi tre articoli di questa sezione scandiscono il materiale di studio secondo i tre generi classici: la lirica antico polacca (Elwira Buszewicz), l’epica (Roman Krzywy), il teatro (Barbara Judkowiak). Per quanto concerne il lavoro di Buszewicz, ci paiono da segnalare, considerato lo spazio limitato che questa sede offre, almeno alcune considerazioni metodologiche: la ripresa dell’idea di Krzyżanowski di “sinusoide”, cioè dell’alternarsi di epoche classiche e romantiche nel corso della storia della letteratura polacca: il classicismo è un fenomeno costante, non viene mai a mancare, semmai lavora sottotraccia, carsicamente, per riemergere a tempo debito (p. 60); il classicismo non è necessariamente un fenomeno conservativo, ché anzi, nelle sue manifestazioni più alte riesce dialogo creativo con la tradizione, la vivifica e la trasforma, adattando l’eredità classica a

esigenze di significazione dell'autore e dell'altezza cronologica in cui dette manifestazioni emergono (pp. 65-66). Se il primo classicista fu Klemens Janicki (l'autrice riprende qui il giudizio di uno dei più grandi studiosi del '500 polacco, Janusz Pelc) per la completa padronanza dei mezzi espressivi ereditati dall'antichità, occorre tenere a mente anche quei proto-umanisti quali Dantyszek, Gregorio di Sanok o Paolo di Krosno, nonché personalità come Gregorio di Sambor (p. 70). Il culmine del classicismo polacco del periodo sarà, naturalmente, rappresentato da Jan Kochanowski, classico "maturo" di quella maturità che Eliot riteneva indispensabile a un "classico". A differenza di quanto intendeva Eliot, però, Kochanowski non fu il frutto di una civiltà letteraria e linguistica "matura", quanto piuttosto il suo nomoteta (pp. 76-77). Una maturità che si esprime anche nella capacità di scardinare i modelli classici – tipico il caso dei *Treny*, ciclo elegiaco per la figlia morta. Lo spunto di Buszewicz, del resto, pare ottimamente raccolto da Monika Szczot, che in due contributi, uno sulle imitazioni oraziane in Polonia e l'altro dedicato ai *Foricoenia*, sottolinea le grandi doti del poeta proprio nello "smontare e rimontare i classici". Si leggano le pagg. 158-160 e 165 gli esempi dei *foricoenia* 60 e 122. Nel primo, la poesia greca di Melegro che viene tradotta da Kochanowski, diviene epigramma metaletterario da erotico che era; nel secondo caso, Catullo XIII viene negato [*Coenabo, Patrici diserte, apud te, / sed coenam volo non Catullianam*] per spostare l'accento della composizione originaria. Proprio questa linea di ricerca sembra molto promettente, vista la minore attenzione dedicata (elegie a parte) dagli studiosi all'opera latina di Kochanowski rispetto a quella in volgare. In conclusione, vorremmo ricordare ancora l'intervento di Krzywy: occorrerà attendere il neoclassicismo settecentesco per incontrare poemi epici conformi (almeno in buona parte) ai precetti della poetica aristotelica e di quelle rinascimentali che ne veicolarono la ricezione. Più importante della realizzazione in sé di tali poemi – mancata probabilmente per un eccesso di norme che scoraggiarono i poeti a tentare l'epica (p.105) – è rendere ragione del fatto che, anche nella teorizzazione del poema epico, ci si rivolgesse all'antichità per il suo culto della politezza formale, il suo sistema assiologico, per la concezione del poema epico quale strumento di ermeneutica del reale e di trasmissione di verità filosofiche, in definitiva agli antichi poemi quali espressione di una concezione del mondo e dell'uomo. Tutto ciò dimostra di per sé, nonostante la mancanza di poemi compatibili con i precetti aristotelici, un orientamento "classicista". Questo ottimo lavoro suggerirebbe lo studio su ampia scala della ricezione di retoriche e poetiche antiche, dal quale si potrebbero cogliere molti frutti, sensazione che si ha anche dopo la lettura del bel contributo di Barbara Judkowiak, che indaga le strade intraprese dal teatro – soprattutto tragico – in Polonia dal XVI al XVIII secolo, a partire dalla ricezione della *Poetica* aristotelica. In generale risalta nel contributo la costante presenza nei secoli di Seneca tragico, che si era allontanato dai precetti dello Stagirita. In conclusione vorremmo qui sottolineare ancora la felice intuizione critica - ben guidata a realizzazione dalla curatrice del volume Katarzyna Meller - di impostare il "problema classicismo" non tanto o non solo come un problema squisitamente letterario, quanto piuttosto come problema filosofico, di *Weltanschauung*. Un problema dunque che va affrontato in modo, ci sia concessa questa parola, "multidisciplinare". Del resto, lo ribadisce da ultimo Nicola Gardini in una densa monografia (*Il rinascimento*, Einaudi, Torino 2010), non era forse una delle caratteristiche peculiari dell'uomo rinascimentale quella di essere un "uomo universale", incapace di limitare i propri ambiti d'interesse? Quasi che gli studiosi di oggi, nell'accostarsi al classicismo, così intimamente connesso al Rinascimento, non possano che far propria questa "antisettorialità".

Т. Смолярова, *Зримая лирика. Державин*, Новое литературное обозрение, Москва 2011, с. 608.

Писать рецензию на эту книгу – задача очень трудная. Начнем с простого описания. Знаком препинания в названии определен предмет книги: получается, что она посвящена зримой лирике *вообще* и у Державина *в частности*. На обложке сообщается, что книга “явно шире своего названия. *Барочной природе исследуемых стихов соответствует барочное развертывание текста* – по равным направлениям и неожиданным контекстам, с включением в орбиту повествования далеких фигур и парадоксальных сюжетных ответвлений” (курсив наш. – М.В.). Книга входит в новую серию издательства НЛО “Очерки визуальности”, предлагающую “новый концептуальный взгляд на известные обстоятельства”.

В предуведомлении автор определяет свою работу как “разговор о державинской лирике 1803-1808 годов”, как “наблюдения и размышления”, возникшие на основе докладов, зачитанных на разных конференциях. На почти 600 страницах автор анализирует всего лишь три стихотворения Г.Р. Державина: “Фонарь” (с. 47-158); *метеорологический цикл*: “Облако”, “Гром” и “Радуга” (с. 159-258) и “Евгению. Жизнь Званская” (с. 259-557).

Намерением автора является опровержение хрестоматийного образа позднего Державина как архаичного и отсталого поэта. Т. Смолярова с самого начала придерживается противоположного взгляда: “характерной чертой державинского творчества первого десятилетия нового века явилось сочетание архаического ‘русского стиля’ и принципиально новых, непривычных метафор и сравнений, выражавших европейское мироощущение первых лет XIX века” (С. 20). Державин представлен в книге как “*Européen malgré lui*” (с. 35).

В центре внимания стоит, таким образом, определение источника державинских лирических метафор, в особенности тех, которые связаны со своеобразным *зрением* поэта. Для этого нужно определить контекст, в котором Державин работал и творил, откуда черпал свои поэтические образы. После описания европейского, в основном английского, контекста, где новые достижения в оптике начала века произвели сдвиг в “визуальности”, автор нас предупреждает: “Попыткой реконструировать – хотя бы отчасти – ту атмосферу, в которой рождались, существовали и воспринимались произведения Державина, мы мотивируем включение в наше повествование ‘необязательных комментариев’ – экскурсов, касающихся сюжетов и персоналий ‘второго порядка’ и набранных в тексте книги в два столбца. Существенная их часть не имеет прямого отношения к анализируемым текстам, но, хочется верить, служит восстановлению контекстов – вербальных и визуальных” (с. 40). В сноске к этому предложению оправдываются еще и “пространные цитаты” из современных Державину авторов, в качестве сведений, ялобы необходимых для восстановления духа эпохи. Исходной точкой для автора являются высказывания Л.В. Пумпянского о том, что у Державина налицо зрение “странного типа”, в частности, именно в стихотворениях, занимающих Т. Смолярову (с. 42-44).

Невозможно изложить не только содержание каждой из трех частей книги, но и вообще ее структуру. Задачу затрудняет некий, действительно *барочный, лабиринтический* ход “размышлений” автора, где читатель в прямом смысле теряется и забывает, откуда берет свое начало такой поток информации. Читатель спрашивает себя, например, почему в связи со стихотворением “Фонарь” как “театрализованной лирикой” автору понадобилось привести известную аллегорию платоновской пещеры, с длинной цитатой из “Государства”, с соответствующей просторной сноской, кстати, с ошибкой в написании греческого выражения (с. 85-

87), если после всего сказанного следует заключение: “о знакомстве Державина с диалогами Платона мы можем говорить с известной долей сомнения” (с. 88). Чуть позже рассказывается история волшебного фонаря, изобретенного А. Кирхером (с. 123), и его последующего развития: от первого появления во французских словарях как *lanterne magique*, до фантазмагии Робертсона и его распространения в России, о чем свидетельствует Жихарев в своих записках. Заканчивая, Т. Смолярова опять-таки лишает всю свою аргументацию основания: “Подробное описание “неребяческого зрелища” и столь эмоциональная реакция Жихарева на увиденное могли бы служить основанием для предположения, что один из спектаклей Робертсона и был тем “публичным оптическим зрелищем”, которое побудило Державина к написанию “Фонаря”, если бы... запись Жихарева не относилась к 30 декабря 1805 года, т.е. (...) двумя годами позже интересующего нас времени” (с. 149). В третьей части о “Жизни Званской”, самой просторной, автор – чтобы объяснить образ “бесчисленности” в отношении веретен прялки, появляющийся в державинском стихотворении – знакомит читателя с английским поэтом и ученым Эразмом Дарвином и его книгой “Ботанический сад” (1791) (с. 407-414), чтобы заключить: “Ни утверждать, ни отрицать знакомства Державина с “образцовым” описанием многоверетенной прялки, заключенным в тексте поэмы, мы не можем” (с. 414). В связи с другим наблюдением Т. Смолярова оговаривает, что сделанное ей только что утверждение “было бы натяжкой” (с. 439). Однако весь ее метод сводится к тому, чтобы упразднить разницу между параллелей и натяжкой. В громадном море накопленных автором сведений и “параллелей” Державин и его лирика утопают.

В “разговоре” автора о Державине практически отсутствует основной для его лирики подтекст – Библия, в смысле традиции образов и метафор, со всеми коррективами Просвещения. Сам автор книги признает: “наука не была частью жизни Державина” (с. 256), и это правильно – для Державина научные открытия XVIII века лишней раз показывали красоту Творения. Понятие “удивления” перед натурой, полисемантическая оппозиция свет – мрак, противопоставление зрения и глаза как его органа, “бесчисленность” как гипербола бесконечного космоса – все это характерно для державинской лирики, объединяя научные представления с библейскими образами.

Лишь в одном месте автором упомянуто масонство (с. 236-237). Развитие этой темы, по-нашему, осветило бы более подходящий для Державина контекст “визуальности”; именно сквозь призму масонского учения осуществлялось зачастую издание книг и переводов во второй половине века. Следует также отметить, что автор явно дает предпочтение английскому и французскому контекстам, что совсем не свойственно Державину. Известно, что поэт никогда не уезжал из России и из иностранных языков знал только немецкий. Все его переложения из других языков осуществлены с помощью друзей из его кружка. Кроме беглых упоминаний о Гете, Т. Смолярова почти игнорирует немецкий контекст, гораздо более близкий Державину, чем французский или английский.

Нельзя не отметить отсутствие знакомства с монографией Н. Kölle “Farbe, Licht und Klang in der malenden Poesie Deržavins [Цвет, свет и звук в живописующей поэзии Державина]” (München, 1966) – одного из важнейших, после Данько и Пумпянского, исследований о “визуальности” в творчестве Державина.

Автору трудно полностью овладеть накопленной массой материала. Отметим, что о тех работах, которые вызвали нашу любознательность, мы в списке литературы не нашли обещанных данных или же нашли неточности; таковы, например: Живов 2008 и 2009 (трудов Живова вообще нет в библиографии), Cross 1971, Barrell 1980, Eekman 1975, Томашевский

1996, Гаспаров 2004, Ковтунова 1969. Даже ссылка в тексте *Державин 1847* не имеет соответствия в библиографии. Греческие слова написаны очень часто без ударения; в конечной позиции находим почти всегда σ вместо ς (с. 195, 223, 426, 541 и др.).

Книга, как представляется, адресована широкому читателю, не специалистам или филологам, тем более державиноведам. Главный ее предмет – “зримая лирика” в европейском (англо-французском) контексте, с общеобразовательными экскурсами и с отступлениями о русской поэзии и о Державине. Вопреки приведенному выше тексту на обложке, *книга уже своего названия*: русский поэт оказался на заднем плане, он – лишь повод для растянувшегося монолога автора.

Michela Venditti

М. Odesskij, *Četvertoe izmerenie literatury. Stat’i o poetike*, RGGU, Moskva 2011, pp. 524.

Il nuovo volume del noto studioso moscovita Michail Odesskij si presenta come un’ampia silloge di studi dedicati ai problemi della poetica affrontati in prospettive e contesti letterari ed artistici diversi. La stessa suddivisione in sezioni chiarisce il carattere articolato dell’opera. Esse sono infatti: *La poetica epistolare dell’amore*, *La poetica della cultura*, *La poetica dell’occultismo*, *La poetica della letteratura vs la poetica dei media* e infine una *Expertise di poetica*. Nella raccolta l’autore ripropone molti testi già noti, che tuttavia acquistano all’interno della nuova disposizione un carattere per certi versi nuovo. Vi risulta infatti marcato in una prospettiva più articolata il sostrato teorico in dipendenza dalla loro collocazione nelle singole sezioni.

Ma andiamo per ordine. La prima sezione è costituita dalla traduzione russa delle lettere in francese inviate dalla contessa svedese Sofia Fersen al principe A.B. Kurakin negli anni 1776-1777, da un’introduzione e dai commenti alle medesime. Si tratta del contenuto di un volumetto già edito due anni orsono a Pisa (là con l’originale francese, pubblicato per la prima volta nel 1898 nell’*Archiv knjazja F.A. Kurakina*), nella serie di “Studi Slavi e Baltici” (8, 2010), e che qui si colloca in apertura come a voler evidenziare la “letterarietà” di testi propriamente non letterari e legati invece alla cronaca biografica se non addirittura alla quotidianità. La corrispondenza è legata al flirt tra la contessa svedese e l’ambasciatore russo presso la corte di Gustavo III Aleksandr Kurakin. Il testo delle lettere, che per il loro contenuto svelano interessanti dettagli sulla storia del tempo, sul ruolo della massoneria, sulla visione del mondo nell’epoca dei Lumi, si costruisce certo in dipendenza dallo svolgersi degli eventi ed è strettamente legato alla quotidianità e agli stati d’animo genuini dell’autrice, ma, nota l’Odesskij, è come se esso rispondesse anche ad un preciso intreccio narrativo che sottintende un approccio per così dire “creativo”, “letterario”. Quello che interessa all’autore è il funzionamento del testo nella cultura in dipendenza dalla sua struttura linguistico-narrativa, da un lato, e dai suoi collegamenti con la dimensione fenomenologica, dall’altro. Da qui il riferimento alla quarta dimensione, quella della cultura e del suo funzionamento che ritroviamo in tutte le diverse sezioni del libro. Nella seconda sezione, dove l’approccio culturologico è, per così dire, esplicito, Odesskij scandaglia il senso profondo di numerose opere e generi della tradizione antica russa, con particolare riferimento alla trattazione letteraria e culturale di specifici temi (da quello della malattia

e dell'“uomo sofferente” in ambito generalmente anticorosso al concetto di “scandalo e seduzione” nella concezione di Avvakum), alla lettura storico-culturale e politico-filosofica di ideologemi provvidenzialistici quali la formula “Mosca-Terza Roma”, o il mito di Mosca come città di San Pietro, o ancora le implicazioni biblico-ebraiche nella coscienza storica degli slavi orientali. All'opposizione tra “capitale” e “provincia” nell'agiografia anticorussa è dedicata una rassegna concisa, ma convincente nelle sue linee descrittive. Ed infatti il lettore troverà sempre ipotesi interpretative suggestive e un'indubbia originalità nella lettura di fenomeni culturali e letterari ampiamente frequentati dagli specialisti. Oltre a questo, come, ad esempio, nel caso della trattazione della formula “Terza Roma” o nello studio dell'immagine del “*človek bolejuščij*”, Odesskij si muove in una prospettiva storico-cronologica molto ampia che non si limita all'epoca anticorussa, ma sa spaziare fino alla modernità. Ad un altro filone, per il quale vale sempre una forte suggestione extra-letteraria, è dedicata la sezione successiva, quella relativa alla poetica dell'occultismo. Qui Odesskij inserisce alcuni studi dedicati al vampirismo (insieme a T. Michajlova il nostro ha pubblicato anni addietro uno studio specifico sul tema, *Graf Drakula: Opyt opisanija* [Moskva 2009] ottenendo ampio consenso dalla critica e dal pubblico, dato il carattere anche divulgativo dell'opera), e, più in generale, si concentra su fenomeni poco noti quali le commedie di V.I. Lukin, il tema del vampirismo nella prosa giovanile di A.K. Tolstoj, la presenza di G. Gurdžiev nel romanzo di Il'ja Erenburg, il romanzo *Podzemnaja Moskva* di A.A. Alekseev, ecc. A sé sta il saggio *Dostoevskij e la quarta dimensione* che tende a dimostrare la dipendenza del celebre passo dei *Karamazov* sulla geometria non euclidea non dagli studi del Lobačevskij, ma dagli scritti del chimico e propagandista dell'occultismo A.M. Butlerov e, in concreto, dal saggio *Četvertoe izmerenie prostranstva i mediumizm* (1878). A questo si aggiunga un convincente studio sul “collettivismo fisiologico” di A. Bogdanov, dai suoi interessi sul vampirismo fino alla creazione del celebre Istituto di trasfusione, e infine un articolo sul mito degli dei antichi nell'opera di A. Kručnych. Di carattere più marcatamente storico-pubblicistico il breve intervento su vampirismo e l'antisemitismo dei nostri giorni.

La sezione relativa alla poetica della letteratura in opposizione a quella dei media si concentra su temi storicamente riconducibili al modernismo: i giornali e la *Sconosciuta* di A. Blok in relazione all'uccisione di Gapon, l'11 settembre (il terremoto del 1927 in Crimea) nel romanzo di Il'f e Petrov *Le dodici seggiole* e, infine, il rapporto tra avanguardia e stampa sovietica a proposito di D. Charms, nel quale il lettore troverà una serie assai ricca e articolata di fonti e riferimenti. Ai problemi relativi alla natura stessa del concetto di poetica è dedicata infine l'ultima sezione. Tra questi da segnalare due saggi dedicati a G.O. Vinokur, uno sul suo studio della politica linguistica in epoca petrina, l'altro sulla sua polemica nei confronti del celebre libro di A.M. Seliščev *Jazyk revoljucionnoj epochi* (1928), e ancora un lavoro su Jurij Tynjanov e il problema “Il Barocco e l'Avanguardia”. Curiosamente la raccolta si chiude con un saggio sulla concezione critico-letteraria di Leo Spitzer, saggio di antica data, essendo stato scritto ancora nel 1988, e che viene posto in chiusura quasi a voler confermare l'omogeneità di un metodo interpretativo scelto molto tempo addietro e sviluppato nel corso di tanti anni, in ambiti d'indagine assai diversi, ma che vengono tutti collegati tra loro nello sforzo di affermare la centralità del metodo d'indagine filologico accompagnato da un altrettanto sicuro approfondimento delle fonti storiche, politiche e giornalistiche. Quello di Odesskij vuole così essere un punto d'arrivo, ma anche di partenza, considerando la coerenza del metodo adottato e la serietà delle soluzioni interpretative qui applicate.

A. Giust, *“Ivan Susanin” di Catterino Cavos. Un’opera russa prima dell’opera russa*, De Sono Associazione per la Musica, Torino 2011, pp. XV+412.

Rielaborazione della tesi di laurea in musicologia presso l’università di Padova, il volume di Anna Giust si apre con un interrogativo dalla risposta non scontata: “Qual è la prima opera russa?”. Tale viene spesso considerata *Žizn’ za carja* (1836); ma è evidente, ad uno sguardo più attento, che l’opera di Michail Glinka, lungi dal fare comparsa improvvisa nel panorama musicale russo, è frutto di un lungo e travagliato percorso culturale iniziato con le riforme petrine e protrattosi fino a inizio Ottocento. Giust, per la prima volta in Italia, analizza a fondo genesi e sviluppo dell’opera seria, dell’opera buffa e dei suoi derivati ottocenteschi in Russia, soffermandosi infine su un compositore (Cavos) e su una delle sue opere di maggiore successo (*Ivan Susanin*, 1815, su libretto di Šachovskoj) che rappresentano, nonostante la poca fama odierna, un presupposto fondamentale per l’opera glinkiana.

L’impresa di ricostruire in poco spazio la complessa vita teatrale dal XVIII secolo alla prima metà del XIX secolo si mostra subito piuttosto difficile: se in Italia pochi studiosi si sono occupati dell’opera musicale nel ’700 e dei suoi sviluppi ottocenteschi — con un approccio in genere letterario, che relega il piano tecnico-musicale sullo sfondo, — i materiali reperibili in Russia, risalenti per lo più agli anni ’50 e ’60, sono viziati spesso da pregiudizi ideologici, che impediscono di collocare e interpretare i testi nella realtà in cui nacquero e si svilupparono. Giust tenta così, con la sua imponente monografia, di presentare finalmente in luce chiara, sgombra da pregiudizi, la vita teatrale e musicale pre-glinkiana, per poi approfondire l’analisi dell’opera che secondo lei rappresenta il precedente più significativo, anche per la similitudine tematica, di *Žizn’ za carja*.

Il saggio si apre con un capitolo dedicato alla genesi e allo sviluppo dei vari generi musicali e teatrali nella Russia dei secoli XVIII e XIX, a partire da *Cefal i Prokris* di Araja, su libretto di Sumarokov (1755), considerata la prima opera seria presentata in Russia. L’autrice sottolinea qui l’influenza dei compositori europei: si ritrovano a comporre in Russia molti autori italiani (Sarti, Cimarosa) e francesi: questi ultimi importano presto a San Pietroburgo il gusto per l’opera francese, soprattutto di autori quali Philidor e Monsigny. Viene così a crearsi, come spiega l’autrice, un corto circuito tra diverse tendenze e stili che aumenterà col passare degli anni. Giust narra poi dell’arrivo dell’opera buffa e dell’opera comica, generi che trovano subito un terreno fertile slegato dalla tradizione classicista e orientati alla realtà contadina e quotidiana russa, come testimoniano le opere di Ablesimov, Popov, Knjažnin. La seconda parte del capitolo presenta la intricata situazione teatrale del primo ’800, quando le compagnie russe e straniere si moltiplicano, così come gli attori di talento, ormai professionisti, e si assiste alla costruzione di nuovi teatri e allo sviluppo di nuovi stili e tendenze teatrali. Faticosa per il lettore digiuno, data l’enorme mole di dati e informazioni racchiusa in poco più di venti pagine, questa panoramica è assolutamente necessaria per comprendere il *milieu* culturale in cui si sviluppa l’attività del compositore veneziano Catterino Cavos (1775-1840), alla cui vita e opera è dedicato il secondo capitolo.

Cavos, nato a Venezia e formatosi nell’alveo della musica italiana, riesce con straordinario spirito di adattamento ad inserirsi nella vita culturale della Russia, dove si trasferisce dopo la pace di Campoformio (1797), diventando Maestro di Cappella dell’opera russa già nel 1803 e condividendo con i nuovi compatrioti i travagli della formazione di un’opera e di un teatro genuinamente russi, tanto da essere annoverato da Stasov, molti anni dopo, tra i compositori russi e non tra i numerosi musicisti stranieri *in tournée*. Il capitolo, uno dei migliori del volume, descrive in maniera

dettagliata la biografia e le opere di Cavos, soffermandosi prima sulle composizioni per le opere e i balletti “comico-fantastici”, in grande voga in quei decenni (come *Knjaz' nevidimka*, 1805, o *Il'ja Bogatyr'*, 1807), poi sulle opere patriottico-folcloriche scritte in collaborazione con A. Šachovskoj, come la celebre opera-vaudeville *Kazak stichotvorec* (1812) e sui balletti composti dopo la disfatta di Napoleone (come *Opolčenie, ili Ljubov' k otečestvu*, 1812). A Šachovskoj, autore del libretto per *Ivan Susanin*, è dedicato l'ultimo capitolo della prima parte, che ne fornisce un breve profilo. Interessata al punto di vista musicologico, l'autrice si lascia qui sfuggire alcune imprecisioni: oltre a non citare in bibliografia studiosi importanti come I. Aleksandrova e D. Ivanov, mette in forse la presenza di Šachovskoj in Italia (testimoniata invece dalle lettere pubblicate nel 1816 su *Syn otečestva*) e liquida la *Beseda ljubitelej russkogo slova*, circolo letterario degli arcaisti di cui il drammaturgo fu attivo membro, come fucina di vetero-classicisti reazionari, laddove recenti opere (M. Al'tšuller 1984, 2007, M. Majofis 2008) ricordano l'interesse di questo circolo per il folklore, per Rousseau, per il romanticismo tedesco e inglese. Va tuttavia riconosciuto a Giust l'essere riuscita a presentare, pur sinteticamente, tutte le fasi della lunga e complessa carriera del drammaturgo.

Nella seconda parte ha finalmente inizio la disamina musicologica dell'*Ivan Susanin*. La storia del contadino che nel 1613 si sacrifica per salvare la vita al futuro zar Michail Romanov, impedendone con l'inganno la cattura da parte di un drappello di polacchi, viene trasformata contro ogni verità storica: il vecchio conduce in un bosco sperduto i balordi per far fuggire lo zar, ma l'intervento providenziale di una truppa russa ristabilisce il lieto fine, riconducendo la storia nell'alveo dell'opera comica. L'analisi, condotta in maniera rigorosa, con un'abbondanza di particolari tecnici che può rendere difficile la comprensione per il lettore non specialista, mostra come siano già presenti i segni dell'opera seria glinkiana, con un *ouverture* compendio di vari leitmotiv dell'opera, con un'accurata presenza di motivi e temi folclorici che ne fanno un'opera sì ancora influenzata da modelli francesi, ma già orientata verso la realtà e il *byt* russo. Apprezzabile la scelta di riportare l'intero libretto in traduzione con molti brani della partitura per chiarire al lettore ciò che l'autrice analizza e commenta.

Dopo un breve capitolo, un po' avulso dal resto del volume, in cui si ripercorre il “mito di Susanin” attraverso la ricostruzione documentaria di alcuni studiosi russi (Zontikov e Kiseleva *in primis*), gli ultimi due capitoli della seconda parte presentano interessanti confronti tra *Ivan Susanin* e altre due opere: la prima è ovviamente *Žizn' za carja*, discendente diretta di quella di Cavos, l'altra è *Les deux journées*, possibile ispiratore di Cavos. Il confronto con l'opera glinkiana è il naturale punto di arrivo di tutta la pubblicazione: Giust spiega i numerosi punti di contatto tra la cosiddetta “prima opera russa” e l'opera-vaudeville precedente, sottolineandone le innovazioni narrative, come ad esempio il secondo atto “polacco”, la scena finale sulla Piazza Rossa dopo l'esecuzione (in Glinka presente) del contadino, e formali, come la maggiore integrazione dell'elemento folclorico nella partitura. Importanti anche i documenti che provano il sincero interesse di Cavos per l'opera del giovane Glinka, e la sua ferma volontà di portarla in scena e di dirigerla personalmente, a dispetto delle prudenze del direttore dei teatri imperiali Gedeonov, che temeva di offendere il maestro di cappella dando il *placet* per un'opera tanto simile a quella del veneziano.

Inaspettato e interessante il breve raffronto tra l'opera cavosiana e *Les deux journées* di Cherubini su libretto di Bouilly (1800), *opéra-comique* ben nota al pubblico russo. Benché Giust non riporti fonti concrete che provino una diretto legame, le vicinanze formali e contenutistiche potrebbero far pensare a un'influenza indiretta di quest'opera su Cavos e Šachovskoj, che meriterebbe di essere indagata più a fondo in pubblicazioni successive.

Dopo un breve capitolo di conclusioni, dove si sottolinea ancora l'importanza di Cavos nella formazione di una “coscienza operistica” autoctona russa, Giust inserisce due appendici, la prima

delle quali è l'inedita partitura per orchestra di un numero dell'opera, il coro "ne bušujte, vetry bujnye", che viene confrontato con la celebre canzone popolare omonima cui si ispira, mentre la seconda è un primo e utile tentativo, mai fatto sinora, di sistematizzare in una tabella tutte le composizioni dello stesso Cavos.

Il volume rappresenta quindi un importantissimo passo verso una più approfondita conoscenza del teatro e della scena musicale russa pre-glinkiana, ancora troppo poco nota nel nostro paese, nonostante i chiari legami con la scena musicale italiana e l'intrinseca effervescenza culturale di una cultura ancora *in fieri*.

Lorenzo Cioni

A.A. Fet, *Il richiamo della poesia*, a cura di P. Dusi, con saggio introduttivo di V. Zelinski e foto di G. Ganzerla, Tarantola ed., Brescia 2012, pp. 678.

Il libro presenta un'ampia scelta di poesie di Afanasij Afanas'evič Fet, relative a tutto l'arco dell'attività creativa del poeta, a cominciare dal 1840, quando egli era ventenne, fino al 1892, l'anno della morte.

La difficoltà di resa di un testo poetico in un'altra lingua è nota, tanto che qualcuno ha sostenuto l'inutilità di questo genere di traduzione. D'altro canto, se si accogliesse questa tesi i poeti sarebbero noti soltanto in patria o agli specialisti che ne conoscono la lingua. Dunque, bisogna ringraziare chi si è cimentato nella traduzione di Puškin, di Lermontov, di Blok, e di tutti gli altri. Di Fet si hanno poche versioni in italiano e, pur essendo un grande poeta, in Italia è noto quasi soltanto agli specialisti, risulta perciò tanto più meritoria quest'opera di Pia Dusi che presenta quasi trecento sue poesie.

Anche il metodo della traduzione è stato a lungo discusso: conservare la struttura formale della versificazione o privilegiare la pregnanza dei termini, ricostruire l'*atmosfera*, o affidarsi alla costruzione *narrativa*? La traduzione di Dusi "predilige la ricerca di un linguaggio armonico accanto alla fedeltà al testo" (p. 58), e affianca alla versione italiana il testo russo, soddisfacendo così la domanda divulgativa e insieme l'esigenza specialistica.

L'edizione, molto bella ed estremamente curata, ha un altro notevole merito: la ricostruzione dell'atmosfera, che i versi evocano, mediante un apparato fotografico veramente eccezionale, con cui l'autore, Giancarlo Ganzerla, vuole far emergere *la voce della poesia*, "per definizione universale e libera da vincoli di tempo e di spazio, in grado di appropriarsi, fondersi, confondersi e rinascere tra le colline moreniche a sud del Garda, tra le agitate o placide acque del Benaco e ancora tra i campi e i prati innevati, tra le rive verdeggianti dei fiumi, o in qualsiasi luogo la vita ci porti e la voce della Natura risponda al richiamo" (pp. 5-6). E in effetti, per esprimersi con le parole di Vladimir Zelinskij, autore del bel saggio introduttivo, "Fet ha insegnato al nostro occhio a vedere ciò che è nascosto, all'orecchio a sentire le cose come si rivelano nel profondo del nostro essere". Si può dire perciò che la poesia di Fet esprima "lo sfondo dialogico della natura umana. Le cose si aprono al poeta nella loro purezza iniziale, nell'abisso dell'infinito meravigliato" (p. 11), e perciò esse sono anche comuni, occorre soltanto saperle *guardare* nel loro affacciarsi all'animo.

Ci si chiede se la mancanza di popolarità di Fet tra i suoi stessi contemporanei, rilevata da Čajkovskij, fosse dovuta alla sua figura scontroso, risentita, pratica e alquanto calcolatrice, in cui sarebbe stato difficile indovinare una tale profondità di sentimento, o piuttosto, come sostiene Zelinskij, all'essere la sua voce *fuori tempo* e lontana sia dagli anni '30 dell'Ottocento che dall'inizio del nuovo secolo, dove la sua ricerca della *musica oltre la parola* sarebbe stata, per così dire, di casa. Forse bisogna mettere in conto entrambi i fattori. Nella sua epoca il lettore colto "cercava altri doni", ricorda Zelinskij, e la critica progressista privilegiava la poesia *civica*, come quella di N. Nekrasov, il cui compito era la difesa degli oppressi, mentre *l'arte per l'arte* a cui veniva ricondotta la poesia di Fet risultava all'opinione pubblica astratta, troppo raffinata e, soprattutto, lontana da un qualche "dolore sociale" (p. 16).

D'altro canto, amici e conoscenti hanno spesso sottolineato il convenzionalismo della sua vita privata e sociale, così incongruo con la profondità dell'ispirazione poetica, come sottolinea l'amico Ja. Polònskij con la sua esclamazione: "Di che razza sei [...] da dove provengono le tue poesie, così pure, così nobili e ideali..." (p. 9). Cercando le ragioni di una tale incongruità, nella sua ricostruzione della biografia del poeta Pia Dusi ricorda come la privazione da parte delle autorità ecclesiastiche di Orël del cognome del padre, Šenšin, con la conseguente perdita dell'eredità nobiliare, per il fatto che il matrimonio dei genitori era avvenuto due anni dopo la sua nascita, ne avesse condizionato la vita e le scelte pratiche (p. 24). Dai quattordici anni fino ai cinquanta, infatti, fu registrato col cognome della madre, e con questo è conosciuto nel mondo letterario fino ad oggi. Anche se i primi versi, comparsi sul "Moskvitjanin" di Pogodin, furono molto apprezzati da Belinskij, la sua attività poetica non gli garantiva il sostentamento, di qui la necessità d'intraprendere la carriera militare, e poi l'attività di agronomo che lo impegnò sui suoi possedimenti dal 1860. P. Dusi ripercorre, con ricchezza di particolari, le vicende della vita e della fortuna letteraria del poeta, affidandosi alle memorie dello stesso Fet, ai diari e all'epistolario di Tolstoj, ai saggi introduttivi e all'apparato di note alle *Opere* di L. A. Ozerov e B. Ja. Buchštab, e allo scritto recente di S. Schneider: *An der Grenzen der Sprache. Eine Studie zur Musikalität am Beispiel der Lyrik des russischen Dichters Afanasij Fet* (Berlin 2009).

La scelta delle poesie si rivela particolarmente felice in quanto fa emergere la ricchezza del mondo poetico di Fet e un aspetto fondamentale della sua creazione: il trascendimento o addirittura la cancellazione del tempo *storico*. Anche dove è evidente il riferimento a un episodio preciso della vita, come nei versi: "Io parto. Si smorza / Sulle labbra il consueto 'addio'" (p. 283), dove la banale concretezza del commiato sfuma nell'abisso di un sentimento privo dei parametri del *prima e poi* ("Dove devo portare la mia tristezza?"), e il saluto *per crudeltà* negato viene collocato nella dimensione dell'attesa che altro non è che la fissazione, la perennità della negazione: "Ma, forse, in un paese lontano / D'un tratto udirò il tuo saluto"; quel "forse", infatti, toglie tempo e luogo alla speranza e ne fa un sentimento universale. E i versi successivi lo confermano con la metafora del viandante a cui solo alla fine della curva, superati tutti gli ostacoli, giunge da lontano la risposta all'addio, ma è appunto una universalizzazione, la liberazione del sentimento della speranza dall'*appartenenza* a quella precisa individualità.

Il procedimento di destoricizzazione è tipico, è vero, di tutta la poesia lirica, ma il più delle volte, specialmente nel Novecento, si accompagna ad una sorta di dilatazione dell'io e non necessariamente alla sua obliterazione, come accade per lo più in Fet: "Siamo due pattini leggeri sul fiume, / Siamo due remiganti su fragile barchino, / Siamo due chicchi in uno stretto guscio, / Siamo due api su un fiore pieno di vita, / Siamo due stelle nell'alto dei cieli." (p. 471). E all'eternità delle stelle corre l'io nel trascendimento e nell'oblio di sé: "Ecco perché, quando tanto difficile è respirare, / Per te è di tanto conforto levare la fronte / Dalla faccia della terra, dove è tutto buio e misero, / A

noi, nel nostro profondo, dove c'è fasto e luce" (p. 457). Non per nulla questa poesia piacque particolarmente a Tolstoj, che otteneva lo stesso risultato di annullamento del soggetto empirico con l'assolutizzazione della dimensione etica.

Ma nessun esempio, nessuna espressione che voglia specificare i caratteri dell'universo poetico di Fet, raggiungerà mai la pregnante lucidità di quei bellissimi suoi versi del 1846, che rivelano la peculiare metodologia del creare cui egli rimase sempre fedele: l'inabissamento nel fondo oscuro dell'anima, la privazione dell'identità che libera il canto dall'*appartenenza* e lo fa universale: "Ofelia stava morendo e cantava, / Cantava e intrecciava ghirlande; / Con fiori, ghirlande e canto / Discese sul fondo del fiume. / E molto coi canti svanisce / Per me sul fondo buio dell'anima, / E a me molta emozione, e canti, / E lacrime, e sogni fu dato." (p. 159).

La traduzione di Dusi, fedele al testo senza farsi *prosa*, privilegiando la ricerca del termine adeguato e rinunciando al metro che trasferirebbe il ritmo a scapito dell'immagine, riesce a trasmettere la ricchezza delle metafore e la profondità del sentimento che caratterizza questo mondo poetico, offrendo al lettore italiano, con l'ampiezza della selezione, la viva figura di un grande poeta.

Angela Dioletta Siclari

K. Azadovskij, *Ril'ke i Rossija: stat'i i publikacii*, Novoe Literaturnoe Obozrenie, Moskva 2011 (= Naučnoe priloženie, XCV), pp. 419.

Tra le più recenti pubblicazioni della prestigiosa collana moscovita è sicuramente degna di nota la riproposta di alcuni degli scritti dello studioso pietroburchese Konstantin Azadovskij dedicati all'ampio e ormai classico tema "Rilke e la Russia".

Come precisato nella prefazione, il lavoro si sviluppa su due assi principali, alternando contributi relativi allo studio dei rapporti rilkeiani con la cultura del paese che arrivò a definire come la sua vera patria, con articoli che esplorano l'eco della sua opera nella vita e nella produzione di diverse personalità della cultura russa. L'autorità di Azadovskij in questo campo, cui ha dedicato gran parte delle sue energie sin dagli anni Sessanta, nonché quella dell'editore, sono di per sé garanzia di qualità dello scritto in questione.

Il lungo primo articolo, già apparso nel 2003, è un dettagliato resoconto dell'incontro di Rilke con la lingua, la letteratura e numerose personalità della Russia a cavallo tra Otto e Novecento. Basate essenzialmente sull'epistolario rilkeiano, con molti dati forniti da materiali d'archivio inediti, queste pagine mostrano come il poeta si sia creato un mito russo personale, avulso dalla realtà, ma coerente con il clima culturale di un'epoca profondamente imbevuta di manie orientalistiche. La tesi principale di Azadovskij è l'idea che lo sguardo di Rilke sulla Russia sia quasi interamente filtrato dagli occhi della persona che lo ha attirato allo studio della cultura russa e con il quale ha visitato due volte il paese (1899, 1900), la scrittrice e filosofa russo-tedesca Lou Andreas-Salomé, indubbiamente una delle figure femminili più affascinanti del primo Novecento. È all'incontro con lei (1987) che viene fatta risalire l'origine della passione russa rilkeiana, dopo prime letture risalenti ancora alla giovinezza praghese (pp. 14-19, 57). Lo studioso ripercorre con precisione e vivacità i mesi di intensa preparazione culturale al viaggio, segnati dallo studio e da numerosi contatti con conoscenti russi. Rilke ricorderà per anni la Pasqua moscovita come una delle esperienze più signifi-

cative, il cui mistero e i cui colori fiabeschi predilige con decisione all'atmosfera europea della capitale (come anche della "quasi polacca" Kiev, visitata l'anno successivo). Azadovskij sottolinea come Rilke e la sua compagna di viaggio si costruiscano una visione parziale del paese, corrispondente agli stereotipi misticheggianti di cui sono nutriti. La narrazione prosegue con i mesi successivi al primo incontro con Mosca e Pietroburgo, nei quali vengono composti i versi di *Das Buch vom mönchischen Leben*, impensabili senza l'esperienza russa, fino al più ampio viaggio dell'anno seguente, che porta Rilke e la Andreas-Salomé fino all'Ucraina e al Volga. Opportunamente Azadovskij, discutendo le giornate trascorse dal poeta in Ucraina, rimanda in nota a saggi critici in lingua ucraina (che danno sicuramente una visione più ampia della specifica problematica "Rilke e l'Ucraina").

Fino al 1902, anno del trasferimento a Parigi e dell'inizio della collaborazione con Rodin, Rilke vive un periodo di fortissimo interesse per l'arte russa, che lo spinge a cercare lavoro come critico con l'intenzione di farsi mediatore fra la cultura russa e il mondo di lingua tedesca (nel secondo articolo della raccolta l'A. descrive l'insuccesso degli sforzi di Rilke). Secondo Azadovskij l'interesse di Rilke per le "cose russe" avrebbe persistito fino alla morte (1926), anche in anni in cui tale attrazione sembra meno presente. Egli evidenzia l'importanza che la conoscenza con la Russia ha avuto per la formazione della *Weltanschauung* di Rilke (p. 64) e riesce a mostrare la convenzionalità di certi luoghi comuni della critica rilkiana, in particolare l'idea di una rigida separazione tra "periodo russo" e "periodo francese" (pp. 84-94): durante il secondo dei quali prosegue, per esempio, il dialogo interiore di Rilke con la complessa figura di Tolstoj.

I sette articoli che seguono, meno specificamente "rilkiani" e di taglio più strettamente comparatistico, non mancheranno di destare la curiosità di ogni slavista attento allo studio dei rapporti culturali slavo-germanici. Il corposo studio sui rapporti di Rilke con A. Benua (Benois), la cui prima versione risale al 1977 (poi ripubblicato in versione più ampia con un maggior numero di materiali d'archivio nel 2003), è di grande interesse ai fini di una più ampia comprensione della cultura russa del primo Novecento, della sua interazione con l'Europa occidentale e dell'attività di personalità di primissimo piano come lo stesso Benua, S. Djagilev e D. Filosofov. Le lettere tra i due "protagonisti" e altri personaggi (purtroppo riportate non nell'originale tedesco o francese, ma solo in traduzione russa) permettono di ricostruire la storia dei fallimenti di Rilke nei tentativi di diventare un collaboratore di "Mir Iskusstva", di organizzare esposizioni di arte russa a Berlino e a Vienna e, infine, di tradurre in tedesco il volume di Benua sull'arte russa. Si rivela, nella scrittura azadovskiana, un aspetto "umano" che traspare in particolare nel rimpianto per la mancata realizzazione di quell'arricchimento culturale che il trasferimento di Rilke in Russia avrebbe potuto portare al paese (pp. 218-219).

Il breve e recente saggio dal titolo *Soveršennye suščestva*, dedicato alla passione del Rilke ormai cinquantenne per il teatro russo delle marionette di Parigi diretto da Ju. Sazonova-Slonimskaja, illustra una pagina interessante e poco studiata della storia dell'emigrazione russa in Francia, così come della tarda biografia del poeta. Vengono anche riportate (sia nell'originale francese che in traduzione russa) le lettere superstiti di Rilke alla Sazonova, custodite nella Houghton Library di Harvard.

Il quarto studio è incentrato sull'episodio forse più noto dell'esperienza russa di Rilke, ovvero il suo intenso rapporto epistolare con Marina Cvetaeva nel 1926, pochi mesi prima della morte. Negli anni, il contributo di Azadovskij alla diffusione e interpretazione dei materiali d'archivio relativi all'incontro tra i due grandi poeti è stato inestimabile. A tratti, come già notato da altri, si ha però l'impressione di un tono quasi agiografico nella descrizione dell'incontro spirituale tra i due (p. 292).

Di grandissimo interesse è anche l'articolo del 1991 su Rilke e A. Blok, che reca il sottotitolo *predvaritel'nye zametki*, come a voler invitare altri studiosi a portare avanti il non facile percorso iniziato da queste pagine. Azadovskij sottolinea l'eccezionale importanza di entrambi i poeti per le

letterature dei rispettivi paesi, così come il loro comune retaggio culturale e letterario. Evidenziando brevemente similarità (culto dell'irrazionale e dell'eterno femminile nel primo caso) e differenze (allontanamento di Blok dalla poesia pura negli ultimi anni nel secondo), lo studioso rinuncia tuttavia ad affrontare il delicato tema dell'affinità o divergenza della loro poesia, per concentrarsi sui contatti che possono aver legati i due poeti in vita (p. 317). La conoscenza di Blok con alcuni dei più alacri propagatori dell'opera rilkeana in Russia nei primi anni del secolo (gli scrittori e traduttori J. von Günther e R. von Walter, entrambi tedeschi del Baltico, nonché lo stesso V. Brjusov) non è stata sufficiente per suscitare in Blok un forte interesse nei confronti dell'opera rilkeana. Le ultime pagine dello studio di Azadovskij sono invece dedicate alla ricostruzione della ben più solida e appassionata conoscenza della poesia blokiana da parte di Rilke. Da queste pagine emerge l'abilità di Azadovskij nel ricostruire il panorama delle relazioni culturali tra due paesi in una determinata epoca attraverso le figure (spesso poco conosciute) di traduttori, estimatori e viaggiatori.

Seguono alcune pagine dedicate ai contatti di Rilke con le sorelle Elena e Ida Vysockaja, sicuramente note agli studiosi di B. Pasternak (non a caso l'articolo reca il sottotitolo *k teme 'Ril'ke i Boris Pasternak'*). Anche dall'analisi dei rapporti del poeta con Vjačeslav Ivanov, grazie alla citazione integrale di diversi materiali inediti (lettere tra Ivanov e il letterato Ju. Anisimov, traduttore rilkeano e amico di B. Pasternak, e tra Rilke e il traduttore D. Umanskij), risulta evidente in poche pagine il quadro di un altro illuminante e poco noto episodio della vita culturale europea dei primi decenni del Novecento.

La conclusione del volume spetta invece a una breve biografia dello scrittore e traduttore A. Bisk, nato a Kiev nel 1883 e morto novantenne negli Stati Uniti, a cui spetta il prestigioso titolo di primo scopritore russo della poesia di Rilke (p. 376).

Ci troviamo quindi, con questa riproposta di studi di Azadovskij, di fronte ad opera di grandissimo interesse non solo per gli estimatori dell'opera rilkeana, ma anche per gli slavisti di taglio comparatistico e per gli studiosi della letteratura russa dell'emigrazione.

Alessandro Achilli

A. Žolkovskij, *Poetika Pasternaka: invarianty, struktury, interteksty*, Novoe literaturnoe obozrenie, Moskva 2011 (= Naučnoe priloženie, XCVI), pp. 608.

Il volume raccoglie il frutto di una quarantina d'anni di lavori pasternakiani dello studioso moscovita, emigrato negli Stati Uniti alla fine degli anni Settanta e oggi professore alla University of Southern California. I ventiquattro articoli che compongono l'opera, pubblicati in svariate sedi ora in russo ora in inglese lungo quattro decenni, si basano sull'apparato teorico sviluppato dall'autore a partire dalla fine degli anni Sessanta in collaborazione con Ju. Ščeglov e noto come "poetica dell'espressività" ("*poetika vyrazitel'nosti*"), rivolto allo studio prettamente scientifico dell'universo poetico ("*poetičeskij mir*", "PM") di un determinato autore. Punto di partenza di questa metodologia di studio, chiaramente influenzata dallo strutturalismo e dalla linguistica generativa, è l'idea che l'opera di un poeta costituisca un mondo unitario e coerente, primariamente definito da un tema centrale, il quale ne determina tutti i successivi piani di composizione e lettura. Ciò fa sì che tutte le poesie di un autore possano convenzionalmente essere studiate come *un'unica poesia* (p. 32). Nel caso

di Pasternak, Žolkovskij identifica come tema centrale di essa “l’interazione dell’entusiasmo con la quotidianità” (“*obščēn’e vostorga s obichodom*”, p. 11, citazione pasternakiana), che si esplica nei due sottotemi del “contatto” (“*kontakt*”) e dell’“unità” (“*edinstvo*”, p. 34). Essi, secondo i principi della “poetica dell’espressività”, determinano tanto l’immaginario del poeta, quanto gli strumenti stilistici indispensabili per la sua raffigurazione, entrambi retti da un certo numero di “invarianti”. La stessa disposizione degli articoli nel volume, che non segue la cronologia della loro stesura o pubblicazione, rispecchia l’ordine mentale della scelta di metodo dell’autore: a uno studio introduttivo sull’universo poetico di Pasternak, segue una parte dedicata alle invarianti a livello del contenuto (“*predmetnye*”, termine di non facile traduzione in italiano), per passare poi alle invarianti stilistiche, all’analisi specifica di singole poesie, per concludere infine con saggi di carattere intertestuale e comparatistico. Žolkovskij specifica d’altronde come l’idea di un universo poetico unitario non escluda, beninteso, la possibilità e la necessità dello studio dell’evoluzione poetica di un autore (pp. 22-23).

Un libro di non facile lettura, probabilmente complicato da un alto numero di abbreviazioni, schemi e modelli matematici (niente di nuovo per chi ha familiarità con gli scritti žolkovskiani), ma sicuramente di grandissimo interesse e utilità sotto due profili: come approfondimento e studio scientificamente fondato dell’opera di Pasternak (idem si dica per lo studio di N. Fateeva del 2003), ovviamente, ma anche come guida metodologica per una lettura rigorosa di qualunque scrittore. Non si può non riconoscere a Žolkovskij il merito di aver dato, sulle orme di Lotman e Lichačev, dignità scientifica a un concetto utile e produttivo, ma altrettanto sfuggente e impalpabile come quello di universo poetico. Lo stesso vale, ad esempio, per alcune importanti puntualizzazioni sui concetti di testo, *podtekst* e citazione in Pasternak, che presentano una valida griglia tassonomica per l’analisi letteraria di qualsivoglia autore, testo o anche genere. Lo studioso pone a se stesso e al lettore domande indubbiamente stimolanti, interrogandosi sulla legittimità di considerare come “motivi” i procedimenti stilistici (p. 175) e alle quali l’approccio della “poetica dell’espressività” offre una risposta evidentemente positiva. Ricco di ausili metodologici anche il saggio su Pasternak e B. Okudžava, incentrato sulla comparazione sulla base di pochi testi degli universi poetici dei due autori e utilissimo riferimento per una comparatistica letteraria scientifica in generale.

Per quanto riguarda il pasternakovedenie nello specifico, sono altamente apprezzabili alcune puntualizzazioni dell’autore a proposito di diversi “luoghi comuni” della critica. Importante è la discussione žolkovsiana sulla complementarità di metonimia e metafora in Pasternak (pp. 15, 37), che va ad arricchire il fondamentale studio di Jakobson del 1935, nel quale veniva affermato il carattere eminentemente metonimico della poetica pasternakiana. Altrettanto interessanti sono le considerazioni di Žolkovskij sulla convivenza nell’universo poetico dell’autore di Živago di un atteggiamento “romantico” e di uno “non romantico”, che superano la tradizionale univoca distinzione dei due campi fondata sulle parole del poeta stesso (p. 90). Si vedano anche le suggestive riflessioni sulla pasternakiana “poesia della diatesi”, nel corso delle quali si assiste a una sostanziale identificazione della categoria verbale, o meglio del suo uso figurato, con uno specifico tropo del poeta, parte integrante del suo universo poetico (anche in questo caso il punto di partenza è il già citato scritto di Jakobson, in cui era stata mostrata l’“assenza dell’attivo” in Pasternak). Žolkovskij arriva a definire il procedimento pasternakiano dello spostamento dei predicati da un attante a un altro come “l’originale contributo di Pasternak allo sviluppo del sistema russo delle diatesi” (p. 15). Queste pagine fanno parte di una sezione del volume in cui viene sviluppato, in assoluta coerenza con l’impostazione generale dell’opera, lo studio dell’ancora una volta jakobsoniana “poesia della grammatica”. L’articolo probabilmente più innovativo in essa contenuto è quello relativo alla “scrit-

tura infinitiva” di Pasternak (“infinitivnoe pis’mo”), parte di un’antologia della poesia infinitiva russa ancora in stampa, ma di cui sono già state pubblicate sotto forma di articoli diverse parti.

Si assiste a tratti, quasi inaspettatamente, a una collisione tra il piano della poetica e quello, in senso ampio, della biografia, o meglio del *žiznnetvorčestvo*, ma anche in questi rari casi (pp. 11, 135) non è difficile ritrovare una giustificazione all’apparente e “innocua” digressione nell’ottica totalizzante (e quindi certamente pasternakiana) del sistema della “poetica dell’espressività”.

Un contributo, dunque, decisamente importante per lo sviluppo degli studi su Pasternak, che permette al lettore di fruire in un solo volume di un fondamentale apparato critico e meta-critico fino ad oggi disseminato tra riviste, monografie e antologie. Infine, un’opera di grande interesse anche per i linguisti “puri” e, chiaramente, per i fautori dell’analisi linguistica del testo letterario.

Alessandro Achilli

M. Calusio, L. Jurgenson (a cura di), *Lettere al boia. Scrivere a Stalin*, Archinto, Milano 2011, pp. 158.

Il libricino curato da Maurizia Calusio presenta al lettore italiano, con alcune importanti modifiche (l’aggiunta della lettera di M. Šolochov e un diverso apparato di note), il volumetto *Lettres au bourreau*, edito in francese nel 2009 dalla sola Ljuba Jurgenson. Si tratta di lettere scritte a Stalin tra il 1936 e il 1939, periodo in cui “tutti turbinano in una diabolica giostra sanguinaria” (p. 30), da persone appartenenti a diversi ambiti sociali, politici e culturali. Proprio la varietà tipologica dei mittenti riflette l’assoluta arbitraria ferocia del terrore staliniano: dai promotori della rivoluzione d’ottobre ormai scomodi, agli oppositori interni al partito, dagli esecutori di stragi programmate alle personalità della cultura, da esponenti della letteratura proletaria a poeti e letterati autonomi. Le lettere sono divise a seconda del tipo di motivazione che le ha ispirate. Il primo gruppo, “Romper con lo stalinismo”, contiene le missive di due agenti segreti e di un diplomatico (I. Raiss, V. Krivickij e F. Raskol’nikov), i quali con lucida determinazione espongono le motivazioni del loro rifiuto del regime staliniano: “le nostre strade si dividono”, scrive Raiss (p. 19), “ritengo mio dovere di rivoluzionario portare a conoscenza di tutto questo l’opinione pubblica operaia mondiale” afferma Krivickij (p. 27); l’interessante e lunga lettera di Raskol’nikov, poi, denuncia chiaramente il senso di impotenza nel vedere deturpato l’ideale socialista: “il Vostro ‘socialismo’, che trionfa mentre per i suoi codificatori c’è posto solo dietro le sbarre, è tanto lontano dall’autentico socialismo, quanto l’arbitrio della Vostra dittatura personale non ha nulla a che spartire con la dittatura del proletariato” (p. 29), e ancora “Definite ipocritamente l’intelligencija il ‘sale della terra’, e avete privato di un minimo di libertà interiore il lavoro di scrittori, studiosi, pittori. Avete stretto l’arte in una morsa che la fa soffocare, languire e morire” (p. 36). Il distacco da Stalin è tanto più doloroso perché significa la fine del sogno rivoluzionario ormai completamente vanificato: “Mi era difficile spezzare gli ultimi legami, non con Voi, con il Vostro regime condannato, ma con ciò che resta del vecchio partito leniniano, nel quale io ho passato quasi trent’anni, e che Voi avete spazzato via in tre.” (p. 39). Il successivo capitolo “Proteggere i propri cari” presenta gli appelli di due donne agli antipodi: la moglie di V. Mejerchol’d, Z. Raich, che scrive all’insaputa del marito per difenderlo dalle accuse di “formalismo” e la poetessa M. Cvetaeva, che chiede aiuto per il marito, ex ufficiale bianco, e la figlia

arrestati. Impressionante il tentativo di M. Cvetaeva di provare l'innocenza propria e dei propri cari attraverso il resoconto delle loro vite e dei loro caratteri ("Noi tutti siamo leali, è un nostro – degli Cvetaev come degli Efron – caratteristico tratto di famiglia", p. 58), che ha inizio con un lapidario "Sono una scrittrice". La terza parte della raccolta, "Evitare l'arresto", fornisce un quadro della follia dominante: se V. Kiršov, scrittore della letteratura proletaria, supplica Stalin: "Aiutatemi ad uscire da questo girone spaventoso, infliggetemi qualsiasi punizione. Non dimenticherò mai la lezione ricevuta" (p. 64), gli altri mittenti sono i genitori dell'ex commissario del popolo agli interni G.G. Jagoda, Grigorij e Marija, e il suo immediato successore N. Ežov, il "nano sanguinario", col cui nome, *ežovščina* si indicano gli anni del Terrore. Genrich Grigor'evič Jagoda, il principale responsabile dello sterminio dei kulaki, colui che aveva istituito il Gulag e organizzato i lavori del *Belomorkanal*, il canale di collegamento tra il Mar Bianco e il Mar Baltico, viene accusato anche lui di essere legato a Trockij e di aver voluto attentare alla vita di Stalin. I genitori chiedono di essere risparmiati: "Rivolgendoci a Voi, caro Josif Vissarionovič, per condannare i crimini di G.G. Jagoda, dei quali abbiamo appreso solo dalla stampa, riteniamo necessario dirVi che nella sua vita privata da dieci anni egli è stato molto lontano dai genitori e non possiamo minimamente compatirlo né rispondere delle sue azioni per lui, tanto più che non abbiamo avuto nulla a che vedere con quello che faceva" (p. 68). Nella lettera successiva, invece, Ežov riconosce di essersi solo "accontentato di aver sgominato i vertici e la parte più compromessa dei funzionari di livello intermedio" (p. 72) e ammette di essere "colpevole di non aver preso sufficienti misure preventive da čekista" (p. 74). La sua lettera si conclude con un appello: "Vi prego di dare disposizioni affinché non venga toccata la mia vecchia madre. Ha 70 anni. Non ha nessuna colpa. Sono l'ultimo di quattro figli, gli altri li ha persi. È una povera creatura malata" (p. 74). Non sappiamo della sorte della madre, ma se la famiglia di Jagoda, i genitori e le sorelle, saranno riabilitati, né lui e né Ežov lo saranno mai. Il capitolo "Invocare la legge" è costituito dalla lunga dichiarazione del capo dell'opposizione a Stalin all'interno del partito, M. Rjutin: accusato per lo stesso crimine in un secondo processo senza né difesa né accusa, viene condannato e fucilato nello stesso giorno. Rjutin scrive: "Nessuna legislazione penale, a cominciare dal diritto romano per arrivare ai nostri giorni in tutti i paesi del mondo, inclusa la legislazione penale sovietica, ammette che un reo venga tradotto in giudizio e sia condannato due volte per lo stesso crimine [...] ... è mostruoso" (p. 80). Fu proprio Ežov a recapitare la sua lettera a Stalin. Nel capitolo "L'ultima lettera" due missive di carattere opposto: la brevissima supplica del generale dell'Armata Rossa I. Jakir, su cui Stalin annotò "vigliacco, prostituta" e una lettera di Nikolaj Bucharin rivolta a Koba, pseudonimo di Stalin durante la clandestinità. Bucharin si rende conto di non avere scampo "proprio perché si tratta della fine, voglio *dirti addio*" (p. 91) e senza rinnegare nulla, spiega la propria posizione al suo vecchio compagno: "il mio cuore sanguina amaramente all'idea che tu possa *credere* ai miei crimini e pensare nel profondo dell'anima che sono davvero colpevole di tutti questi orrori" (p. 93). "Salvare il villaggio" è l'ultimo capitolo, costituito dalla sola lunga lettera dello scrittore M. Šolochov, l'unico della raccolta ad essere sopravvissuto. La lettera, assente nel volumetto francese, fa parte di un lungo carteggio, e viene presentata per la prima volta integralmente. Nel resoconto delle vicende legate al suo villaggio Věšenskaja, Šolochov descrive nel dettaglio le torture inflitte nelle carceri sovietiche "di interrogatori con torture mi scrivono anche altri detenuti ora deportati. Mi scrivono e mi pregano di farVi sapere come sono stati interrogati, come hanno fatto di loro dei nemici" (p. 128), e ancora: "Un simile metodo di indagine disonora il glorioso nome dello NKVD e non permette di stabilire la verità" (p. 130). Nella breve nota alla traduzione italiana la curatrice ci informa che le note al testo non corrispondono del tutto alla versione francese e che le traduzioni sono state realizzate dall'originale russo. La motivazione più forte alla pubblicazione del libro in ita-

liano è, scrive Calusio, la reazione al fenomeno in atto nell'ultimo decennio che vede la rivalutazione della figura e dell'opera di Stalin da parte di una certa cultura russa revisionista. La curatrice cita le parole di monito dello storico N. Werth: "Oggi come ieri la vittoria del 1945 cancella il crimine di massa del 1937-38" (p. 9).

Michela Venditti

Ј. Делић, *Иво Андрић – мост и жртва*, Православна реч-Музеј града Београда, Нови Сад-Београд, 2011, стр. 323.

Протекла 2011. година у Србији је обележена у знаку педесет година од доделе Нобелове награде за књижевност Иви Андрићу. Био је то повод за објављивање монографије *Иво Андрић – мост и жртва* чији је аутор др Јован Делић, редовни професор српске књижевности 20. века на Филолошком факултету у Београду. Професор Јован Делић већ годинама објављује у научној периодици и у домаћим и међународним научним зборницима радове посвећене литерарном опусу овог писца. Целокупну културну јавност пријатно је стога изненадило веома луксузно опремљено издање које су објавили Православна реч из Новог Сада и Музеј града Београда. Срећна је околност да је било довољно воље и средстава да Иво Андрић добије стручно опремљену монографију, прву те врсте и таквог обима на српском језику: на 323 странице енциклопедијског формата, монографија *Иво Андрић – мост и жртва* представља језгровиту и информативну књигу, најбољу до сада урађену на српском језику те врсте.

Монографија *Иво Андрић – мост и жртва* подељена је у пет поглавља са уводним текстом Иве Андрића "О причи и причању", који је писац прочитао приликом доделе Нобелове награде. Делић тај текст узима као пролошки јер сажима суштину Андрићеве поетике. Прво поглавље представља енциклопедијски поглед на Иву Андрића и као такво је илустровано фотографијама које прате места Андрићевог живота: Вишеград, Травник, Сарајево, Рим, али и мање познати манастир Гуча Гора, где је настала збирка лирске прозе *Ex Ponto*. У монографији су репродуковане оригиналне фотографије, уметничка дела и предмети из Музеја града Београда из Легата Иве Андрића.

Друго поглавље кроз два аналитичка рада "Твори, творче, не говори" и "Кад Гоја тражи писца" читаоца уводи у херменеутички круг поетичких тема у Андрићевом опусу. У првом тексту Делић анализира поетичке основе Андрићеве стокхолмске беседе и указује на основно пишчево начело да литература треба да разуме човека и да та прича треба да буде лепо испричана: у поетичком трагању за основама Андрићевог стокхолмског говора Делић тако указује на пишчев есеј "Разговор са Гојом". У том есеју као облику хибридног текста уочени су темељи Андрићевог дела јер управо есејистика прожима целокупан опус овог писца. Тако аутор монографије о Андрићу, у другом поглављу управо из пишчеве есејистике црпи основне поетичке токове. У "Разговору са Гојом" Делић налази есејистичко наративну структуру која се одвија у два гласа, где се разликују, путников глас као дескриптивно-симболички и Гојин церебралан, интелектуално-монолошко-асоцијативан. Анализом стилско-реторичких и семантичких елемената, истиче се да овај есеј представља велики приповедачки тренутак у Андрићевом делу, казујући да је лик изабраног сликара, мудрог, искусног и глувог нека врста прототипа.

Треће поглавље проистиче из Делићевог систематског проучавања поетичких или тематских проблема у Андрићевим приповеткама. Текстови су објављени са пропратном научном апаратуром, фуснотама и указују на вишегодишње тумачење приповедака “Мустафа Маџар”, анализу Мехмед паше Соколовића из романа *На Дрини ћуприја* и Јусуфа, великог везира и добротвора из приповетке “Мост на Жепи”, као два прототипа неимара, на тему светлости и светости жртве, анализу лика Томе Галуса, затим анализу реконструкције недовршеног романа *На сунчаној страни* и на крају анализу лика Вјекослава Караса у *Омер-пашин Латасу*.

Треће и четврто поглавље ове монографије одликују се научним, дискурзивним речником и стилем, који представља сасвим другу врсту материјала и садржаја од претходна два поглавља. Тако у раду “Андрићев портрет славног победника. О приповиједи Мустафа Маџар и поводом ње” Делић анализира портрет јунака Мустафе Маџара и кроз поједине елементе који га обликују указује на опште поетичке поступке у Андрићевом приповедачком делу. Мустафу Маџара Делић пореди са портретима јунака Алије Ђерзелеза и Омер-паше Латаса као модела Андрићевих контроверзних ликова и јунака победника. Анализа мушких ликова из Андрићевих приповедака и романа наставља се у следећем краћем тексту где аутор издваја два велика везира, Мехмеда пашу Соколовића и везира Јусуфа, обојицу као успешне владаре Отоманске царевине, а истовремено људе словенског порекла из Босне. Та типологија јунака моћника, који су располућени између хришћанског порекла и обавезе да се интегришу у Османско царство раздире питање идентитета и унутрашње слабости изазване муком двојног живота.

Тему светлости и светости жртве и жртвовања у митском, легендарном и стварносном кључу Делић проналази код Андрићевих јунака у роману *На Дрини ћуприја*, али исто тако и у извесним животним подвизима самог писца. Делић тумачи и велико присуство митова, легенди и народне књижевности у овом роману. Символику имена и лика Томе Галуса, затим, који се учестало појављује у Андрићевом опусу, Делић сагледава као развој једног соларног јунака кога ће на крају догући присуство другог јунака Постружника. Семантичким, лексичким и стилским анализама Делић тумачи вишеструке појаве јунака у Андрићевом опусу и коначну најопштију и најстарију врсту сукоба, која је уткана у постојање света, у сукоб светла и таме, соларних и хтонских бића.

У последњем тексту трећег поглавља “То што се зове сликар. О лику Вјекослава Караса у Андрићевом недовршеном роману *Омер-пашин Латас*” Делић тумачи лик сликара Караса са композиционог становишта, сижејних токова усмерених на тематику лепоте и уметности. Делић је овде стиже до ставова по којима је есејизација романа једна од основних особина овог писца.

Четврто поглавље монографије *Иво Андрић – мост и жртва* је нека врста компаративног и интертекстуалног приступа, где се кроз текстове, приказује однос Андрића према традицији Вука Стефановића Караџића, Његоша, генерацијска и поетичка блискост са Милошем Црњанским и према знатно млађем Данилу Кишу. Делић је у овом поглављу посебну пажњу посветио управо кључним елементима традиције на коју се ослања Андрићево дело, али и првим послератним годинама када Црњански надахнуто пише о Андрићевој поезији и Андрић свесрдно указује на младог Црњанског. Тумачења се ослањају на делове Андрићевих есеја, али и на јасне поетичке одлике.

Завршно поглавље монографије, насловљено “Иво Андрић, пјесник”, усмерено је на херменеутичко испитивање песничких књига младог Андрића, где се поред познатих поетичких особина истичу меланхолија и есејизација. Делић је Андрићев текст “Мостови”, објављен

1933. године, тумачио као облик хибридног жанра песме у прози тј. песме-есеја. Тако се и овај одељак попут беоцуга уклапа у почетна поглавља и основну нит која прати Делићева тумачења Андрићевог дела, као есеја, тј. као облика који формира хибридне жанрове есеје који прерастају у романе, романе-есеје и на крају песничка остварења која бивају есејизирана или су песме-есеји. На самом крају овог поглавља налазимо енциклопедијску одредницу са почетка књиге, али сада на енглеском језику.

Књиге оваквог формата и захвата и у издавачком и уредничком и научном смислу су веома ретка појава у нашој култури. Уз изузетну похвалу Јовану Делићу за брито и концизно написану енциклопедијску одредницу и низ веома инспиративних и у научном смислу значајних тумачења у трећем поглављу монографије сматрамо да је оваква књига можда могла да буде подељена у две. Због апсолутног недостатка добрих и луксузно опремљених издања можда је ипак било корисно објавити само једну књигу са енциклопедијском одредницом на српском и енглеском језику уз сав пропратни фото-материјал. Таква књига би била упућена најширим читалачким круговима, док би друга књига садржала тумачења Андрићевог дела и била би намењена више научним и стручним круговима. У сваком случају велики издавачки и ауторски подухват, који је обележио 2011. годину у српској култури и књижевности, али са малим недостатком крајње, комерцијалне и типолошке одређености и прагматичности која је увек некако измицала српској култури. Лепа и умна књига која је нашој и међународној славистици, упркос наведеним замеркама, ипак, недостајала.

Светлана Шеатовић Димитријевић

L. Quercioli Mincer, *Patrie dei superstiti. Letteratura ebraica del dopoguerra in Italia e in Polonia*, Lithos, Roma 2010 (Laboratorio Est/Ovest), pp. 318.

Nel crescente numero di studi dedicati a temi ebraici e alla loro letteratura, questo volume si distingue anzitutto per l'ampiezza di letture e documentazione, per le solide basi metodologiche, e per il rigore dell'inquadramento e dell'interpretazione del materiale esaminato. Il libro affronta temi complessi e delicati, analizza sfaccettature e intersezioni culturali particolarmente intricate, eppure resta una lettura appassionante, che coinvolge intellettualmente ed emotivamente sia lo specialista, sia il vasto pubblico.

Il libro è dedicato a due letterature, quella ebraica polacca e quella ebraica italiana, che, per essenza genetica, sfuggono alle consuete 'catalogazioni' storico-letterarie nazionali, pur essendo a queste ultime strettamente legate. I problemi affrontati sono della stessa natura, anche se non sempre simili, a quelli di tanti scrittori ebrei che si sono espressi in varie lingue: si pensi a Kafka o I. Babel'. Il titolo indica i punti fondamentali di riferimento: le opere esaminate sono quelle del periodo che va dal secondo dopoguerra ad oggi, gli scrittori sono legati dall'esperienza comune della persecuzione nazista e della Shoah ma non affrontano direttamente la realtà dei campi, l'appartenenza letteraria ad una lingua e cultura è inscindibile dall'appartenenza ad altre culture, ad altre "patrie". La volontà di capire in che cosa si distinguono queste opere dalle contemporanee opere della letteratura polacca e italiana (quelle – diciamo – dei 'canoni' nazionali) è il primo compito che l'A. si propone. Fondamentale rimane il problema della lingua. Per la tradizione dell'ebraismo delle terre che facevano parte

della Federazione polacco-lituana (e quindi anche quelle oggi ucraine, bielorusse e lituane), l'inserimento nel sistema culturale, scolastico e sociale polacco implicava l'adozione del polacco come lingua primaria di espressione sia orale che scritta, sia quotidiana che letteraria. Questo comportava l'abbandono delle lingue tradizionali (yiddish ed ebraico) e, con esse, dei costumi (anche dell'abbigliamento), dei modi di pensare, della cultura tradizionale. La 'polonizzazione linguistica' fu strumento fondamentale di integrazione allorché la Polonia ricostituita nel 1918 divenne terreno ideale per un processo di assimilazione degli intellettuali e scrittori ebrei alla letteratura polacca. La lingua fu però anche uno dei bersagli di cui, già nel primo dopoguerra, si servì parte dell'establishment per ricordare agli scrittori polacchi ebrei che essi comunque restavano ebrei (ossia "altri"), e quindi per ostacolare l'integrazione della specificità ebraica nella letteratura polacca come sua componente essenziale: la lingua degli scrittori di origine ebraica fu accusata di essere 'impura', 'corrotta', non veramente polacca.

È questa una differenza importante con la situazione italiana, in cui la frattura linguistica non esisteva, ma era questo solo uno dei sintomi inquietanti del disagio che portò al nuovo approfondimento della scissione fra 'polonità' ed 'ebraicità' all'indomani della II Guerra Mondiale e della Shoah. Paradossalmente, quando i milioni di ebrei che con i polacchi avevano convissuto per secoli erano scomparsi per mano nazista, il problema della possibile integrazione nella coscienza identitaria polacca delle poche migliaia di sopravvissuti si acutizzò. Questo non dovrà farci dimenticare che il numero dei "Giusti" polacchi (sono quasi 7000) che hanno salvato la vita a quelle migliaia di sopravvissuti è il maggiore fra tutte le nazioni rappresentate allo Yad Vashem. Tuttavia resta il fatto che la speranza di "Non dovere più aver paura della gente" (per usare le parole di uno dei più importanti scrittori ebrei superstiti, H. Grynberg, divenute titolo del 1° capitolo del nostro libro), in molti casi fu brutalmente stroncata sul nascere dai massacri di ebrei sopravvissuti eseguiti già nel '45-'46 da bande organizzate e da individui polacchi, dall'ostilità dei polacchi verso i sopravvissuti e dalle successive profonde limitazioni poste dai governi comunisti all'espressione dell'identità ebraica nella vita letteraria e culturale polacca.

Il dramma del ritorno ebbe quindi fin dall'inizio modalità sostanzialmente diverse da quelle di un P. Levi o di un G. Bassani, anche se i traumi derivati dalla vita del campo o dei nascondigli, dall'incapacità di narrare e di essere ascoltati, dalla volontà di *deletio memoriae* da parte della società erano, per sostanza filosofica, simili in Italia e in Polonia.

Il I capitolo del libro è quindi dedicato ad alcune opere letterarie (si distinguono A. Rudnicki, H. Grynberg, M. Głowiński per la Polonia, G. Bassani, G. Limentani per l'Italia) che hanno ricreato attraverso i loro personaggi principali le illusioni e delusioni, le speranze e le frustrazioni, a volte anche le possibili vie di uscita dalla situazione traumatica del non essere accettato e del non essere capace di far comprendere all'Altro la propria esperienza e le proprie aspirazioni.

Uno dei drammi fondamentali per l'*intelligencja* ebraica polacca è stato quello del rapporto con l'ideologia comunista, sia con la sua dimensione utopica, sia con la sua realizzazione storica. Il capitolo "Fra Mosca e Gerusalemme: *Ubi Lenin, ibi Jerusalem*" analizza con rara lucidità ed equilibrio di giudizio il dramma dell'incomprensibilità che si è creata fra ebrei e polacchi allorché il desiderio di partecipazione alla ricostruzione del dopoguerra è divenuto per i polacchi opposizione sempre più radicale al governo comunista non voluto, imposto da una potenza straniera odiata da sempre, mentre per molti ebrei il comunismo rappresentava il sogno della liberazione dagli incubi del passato in nome dell'internazionalismo e dell'uguaglianza degli uomini. Ben presto tuttavia, l'utopia socialista si è rivelata una trappola ideologica per gli ebrei stessi, una trappola che non solo ha impedito la realizzazione degli ideali, ma ha portato nel 1968 a nuove, assurde persecuzioni antisemite, basate su quei principi etnici (in realtà, razziali) che rendono simili i totalitarismi di segno an-

che opposto: nel 1968 fu imposto agli intellettuali di dichiarare pubblicamente la loro appartenenza all'ebraismo oppure alla polonità, come se le due dimensioni fossero incompatibili. La scelta non era puramente teorica, implicava la decisione di restare nella patria polacca o di emigrare. In questo capitolo l'A. esamina con particolare sapienza e delicatezza le illusioni, i dubbi, i compromessi e le sconfitte come sono state raccontate da scrittori quali A. Rudnicki e H. Krall, e da molti intellettuali, filosofi, storici, letterati che emigrarono. Grande attenzione è dedicata alla delicata posizione di equilibrio in cui scelsero di continuare a vivere e scrivere molti intellettuali ebrei che riuscirono a mantenere livelli di eccellenza nell'attività di scrittori o studiosi, pagando la loro 'integrazione' nel mondo culturale polacco con una costante 'autocensura', col prezzo del silenzio sugli argomenti considerati tabù di cui non si poteva scrivere, e che rimasero quindi repressi nel profondo della psiche individuale e collettiva. In alcuni casi questi drammi nascosti riuscivano a trovare espressione nel linguaggio figurativo ed allegorico della letteratura (per es. i romanzi di J. Strykowski) o nel discorso rigorosamente scientifico (il ben noto sociolinguista e teorico della letteratura M. Głowiński). Negli affascinanti e inquietanti personaggi del primo si incarnano i conflitti più nascosti dell'io profondo, provocati dall'abbandono dell'ebraismo tradizionale, dalla rinuncia ad un'appartenenza forzosamente abbandonata, ma mai realmente elaborata. Con la sua lucidità intellettuale, il secondo è riuscito ad esercitare la più severa analisi critica delle storture mentali e sociali della Polonia comunista, senza abbandonare le istituzioni ufficiali, ma nascondendo le proprie identità "altre". Identità "altre" che si chiamavano ebraismo da una parte, ma anche alterità di genere, ossia omosessualità. A questa difficile identificazione plurima, ai drammi dell'omofobia subita e dell'odio di sé che la accompagna, e d'altra parte alla liberatoria rivelazione della verità resa possibile dagli sconvolgimenti provocati dagli eventi del 1989 sono dedicate alcune delle pagine più affascinanti del libro, in particolare quel 3° capitolo in cui si descrivono i romanzi e le narrazioni autobiografiche dei due scrittori succitati e di altri loro colleghi, narrazioni uscite come torrenti in piena dalle coscienze represses e piagate, rese libere di mettersi a nudo negli anni '90 e nel primo decennio del XXI secolo.

Il libro si conclude con un capitolo dedicato al "Ritorno della seconda generazione". La difficoltà di ricostruire la memoria da parte dei superstiti e della società che li ha spesso rifiutati, sembra trovare un riscatto nella generazione della *Postmemory*, in quella "struttura della trasmissione di conoscenze ed esperienze traumatiche inter- e transgenerazionali" che ha permesso, alla seconda e terza generazione di riallacciare il discorso della memoria che sembrava definitivamente inclinato verso l'oblio fra gli anni '60 e '80. I temi affrontati sono quelli più scottanti per la Polonia del XXI secolo (la rivelazione e la presa di coscienza collettiva dei massacri fatti dai polacchi a Jedwabne e Kielce, la vergogna del 1968), con la relativa polemica che dura fino ad oggi – basterà ricordare i nomi di A. Bikont e J. Gross; sono però anche tentativi meno drammaticamente scottanti di riappropriarsi della storia della propria famiglia, della sua memoria, non fosse che di qualche foto, di piccoli oggetti, anche "solo di nomi" (per la Polonia per es. A. Tuszyńska, per l'Italia A. Albini, e – non a caso – l'A. ricorda il *Maus* di A. Spiegelman!). Mi permetto di aggiungere il recente, meraviglioso *Nel giardino della memoria* di Olszak-Ronikier (tradotto in italiano da Forum, Udine) che non è entrato a far parte del nostro libro per semplici questioni cronologiche. La possibilità di acquisire all'elaborazione della memoria la testimonianza delle seconde e terze generazioni ha suscitato qualche perplessità. A me pare invece che questo sia un capitolo molto importante, che trova supporto in recenti studi e sperimentazioni psicoanalitiche, e che appare con una forza di persuasione straordinariamente reale a chi osserva tanti "ritorni" alla 'seconda identità' ebraica negli ultimi 2-3 decenni della nostra storia.

I. Bock (a cura di), *Scharfüberwachte Kommunikation. Zensursysteme in Ost(mittel)-europa (1960^{er}-1980^{er} Jahre)*, Lit-Verlag, Münster 2011, pp. 480.

È vero che il contenuto di un libro non può essere giudicato dalla sua copertina, tuttavia, le immagini del volume *Scharfüberwachte Kommunikation* sono molto eloquenti e catturano immediatamente l'attenzione del potenziale lettore: due fotografie testimoniano l'incontro a Čierna nad Tisou nel 1959 tra il presidente ceco Antonín Novotný e Nikita Chruščëv; sullo sfondo della prima si distingue chiaramente il ministro ceco Rudolf Barák, nella seconda quest'ultimo è scomparso, condannato alla *damnatio memoriae* poiché caduto in disgrazia. Il paratesto funge dunque da esemplificazione viva della materia trattata all'interno del libro: la censura nell'Europa centro-orientale, come precisa il sottotitolo.

Il testo si configura come la prima parte di un progetto, sostenuto dalla fondazione Volkswagen, dal titolo *Das andere Osteuropa. Dissens in Politik und Gesellschaft, Alternativen in der Kultur (1960^{er}-1980^{er} Jahre)*, il cui scopo è quello di prendere in considerazione la vita politico-culturale di sei stati: Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Polonia, Ungheria, Romania e Repubblica Democratica Tedesca. Le coordinate temporali entro le quali si sviluppa lo studio sono la morte di Stalin, con il successivo periodo di de-stalinizzazione, e la caduta della cortina di ferro nel 1989.

La prefazione del testo è a cura di Wolfgang Eichwede, slavista di chiara fama in Germania e direttore fino a due anni fa del *Forschungsstelle der Osteuropa* di Brema, centro di ricerca che si è sempre distinto a livello europeo per i suoi studi sui dissidenti sovietici. Esistono già diversi contributi sul fenomeno del dissenso in Unione Sovietica e nelle Repubbliche Socialiste, come sottolinea anche Eichwede nella prefazione, ma questo progetto si distingue dai lavori precedenti per il taglio comparatistico che gli si è voluto imprimere.

La tesi che sta alla base di questo primo volume del progetto dedicato alla censura, e che giustifica un nuovo studio in questo campo è che, nonostante la base ideologica delle istituzioni censorie nei diversi stati sia sempre la stessa, esistono tuttavia differenze, talvolta anche rilevanti, tra di esse, dovute alla specificità del territorio in cui sono ubicate, alla contingenza politica e alla prassi concreta delle loro attività. Su questa base sono costruiti i tre saggi del volume: "*Unser ganzes System ideologischer Arbeit muss wie ein gut eingespieltes Orchester agieren*": *Zensur in der UdSSR und der ČSSR* di Ivo Bock, *Sonderwege der Zensurpolitik in der Volksrepublik Polen* di Aleksander Pawlicki e *Die Zensur belletristischer Literatur in der DDR* di Ann-Kathrin Reichardt.

Nell'introduzione al volume, scritta dal curatore I. Bock, sono presentate utili precisazioni di carattere terminologico, e in nota sono elencati i più importanti studi sulla censura e sull'ideologia, base fondamentale del potere e al tempo stesso strumento indispensabile per la sua legittimazione.

I tre corposi contributi, che costituiscono il nucleo del volume, sono impostati secondo uno schema simile. Inizialmente si descrivono gli organi preposti alla censura e le loro competenze, si presentano dunque le direttive del partito, che è sempre il punto di riferimento di ogni istituzione in un sistema elefantico, poi la concreta prassi censoria e le eventuali criticità ad essa legate; alla fine si presentano alcuni esempi di metodi adottati dai letterati per sfuggire alla censura.

Il primo dei tre saggi è di Bock, e tratta della censura in Unione Sovietica e in Cecoslovacchia. È l'unico che si possa definire comparatistico in senso stretto, in quanto l'autore fa un parallelo tra la censura dei due paesi, mentre quelli successivi si focalizzano su un'unica nazione. Di particolare interesse è la descrizione dell'evoluzione del criterio di realismo socialista, nel paragrafo *Überreste des Dogmas des sozialistischen Realismus* (p. 104): nonostante tale concetto sia stato elaborato nel

1934, esso rimase un dogma fondamentale nella creazione artistica sovietica e i concetti di partiticità, di rappresentazione di eroi positivi e di descrizione della realtà secondo un'ottica di evoluzione e progresso rimasero i punti di riferimento di ogni artista, sia in Unione Sovietica sia in Cecoslovacchia, mentre correnti come il formalismo e l'astrattismo erano ritenute inammissibili. Interessante è anche leggere delle direttive del partito ceco dopo la Primavera di Praga: si impose la necessità di collaborare con l'Unione Sovietica e gli altri stati del patto di Varsavia in ambito culturale, economico e ideologico, direttiva volta chiaramente a ristabilire il controllo dall'alto, ma sempre ribadita da formule ridondanti, il cui scopo era convincere che in questo modo la Cecoslovacchia ne avrebbe tratto giovamento, e che questa era espressione di vero patriottismo e internazionalismo (p. 121).

Il secondo saggio, di Pawlicki, tradotto in tedesco da Rafael Mrowczynski, mette in evidenza la particolare posizione della Polonia all'interno del sistema sovietico. L'importanza e la continuità della presenza cattolica in Polonia non poteva più essere ignorata dopo l'elezione al soglio pontificio di Karol Wojtyła nel 1978. La Polonia divenne quindi *das Bollwerk des Christentums unter den sozialistischen Ländern* (p. 337). L'autore descrive il fenomeno del *drugi obieg*, identificato come la variante polacca del *samizdat* russo, che influenza il sistema della censura e ne viene a sua volta influenzato, creando un canale parallelo a quello ufficiale di diffusione di cultura. A fianco dei metodi di censura più noti, l'autore descrive anche la cosiddetta "formula Tribuna Ludu", metodo subdolo di censura, secondo la quale un giornale era apparentemente libero da qualsiasi forma di controllo, poiché i censori erano certi che il redattore avrebbe comunque provveduto a una sorta di autocensura, essendogli stato consegnato un prontuario con l'elenco degli argomenti tabù (p. 225). Nel paragrafo *Das Zwischenspiel der Solidarność* (p. 269) sono descritti i mezzi di comunicazione non ufficiali di questa organizzazione, che si sottraevano al controllo della censura. A fianco del giornale ufficiale *Tygodnik Solidarność* esistevano bollettini di informazione a elevata tiratura, la cui libera circolazione era assicurata da un timbro che ne dichiarava un uso esclusivamente interno. Si assistette così a un prevedibile inasprimento delle disposizioni circa il ruolo dei mezzi di informazione di massa, che, secondo le disposizioni, dovevano servire esclusivamente alla diffusione del messaggio ideologico del partito.

Il terzo saggio è dedicato alla realtà della RDT, più precisamente alla procedura di censura di testi di narrativa. L'arco temporale preso in considerazione è più ristretto rispetto a quello dei saggi precedenti e si concentra sugli anni Settanta e Ottanta. L'autrice introduce il sistema di censura della Germania orientale e sottolinea il fatto che, oltre alle istituzioni canoniche, vi era anche quella della Stasi, che esercitava una forte influenza sulle decisioni relative alla pubblicazione di testi di narrativa. Sono riportati alcuni esempi concreti di autori che rischiarono di non vedere le loro opere pubblicate; di particolare interesse è quello di Christa Wolf (p. 410). Le sue *Premesse a Cassandra*, secondo la *Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel im Ministerium für Kultur*, dovevano essere modificate, nello specifico era necessario eliminare le parti in cui le nazioni della Nato e quelle unite dal patto di Varsavia erano messe sullo stesso piano in relazione alla questione nucleare. La Wolf non voleva apportare tali modifiche e si batté perché il testo fosse pubblicato invariato, cosciente della sua popolarità e sicura che un veto alla pubblicazione del suo libro fosse da escludersi. Il testo fu effettivamente pubblicato, ma in luogo delle parti contestate furono introdotti dei puntini di sospensione e alla fine del testo fu inserita l'indicazione *gekürzte Fassung*. Nonostante i criteri di censura siano rimasti invariati nella storia della RDT, essi divenivano più o meno restrittivi in relazione alla personalità del segretario generale della SED in carica. Con l'elezione di Honecker nel 1971 sembrò aprirsi una nuova fase più liberale e permissiva. Essa fu però di breve durata e poté ritenersi conclusa già nel 1976, con la privazione della cittadinanza di Wolf Biermann. Con l'inizio

della *glasnost*' di Gorbačëv negli anni Ottanta si ritornò a una timida liberalizzazione della cultura, a imitazione dell'esempio dato da Mosca.

Nelle conclusioni (*Die Zensur in kommunistisch regierten Ländern Ost- und Ostmitteleuropas im Vergleich*) Bock tira le somme e sistematizza quanto esposto nei tre saggi. Messo in evidenza il ruolo del partito, che rimane sempre l'istituzione più importante nel sistema sovietico e dei paesi satelliti, Bock riprende il noto paragone dell'orchestra: le varie istituzioni sono come violini, che iniziano a suonare solo quando il Comitato Centrale, che rappresenta il direttore d'orchestra, dà loro il segnale. Sono qui evidenziate le tecniche a disposizione degli scrittori per sottrarsi al controllo della censura, descritte anche nei tre saggi, e trattate in maniera leggermente differente dai tre autori: la lingua esopica, una sorta di linguaggio in codice che mascherava qualsivoglia riferimento alla realtà concreta, e la tecnica del "cane di porcellana", attraverso la quale si indirizzava l'attenzione verso un oggetto assurdo, ritenuto inaccettabile dal censore: in questo modo si deviava l'interesse da altri aspetti, potenzialmente cassabili, che passavano così inosservati.

In appendice al testo sono posti un elenco di abbreviazioni, molto utili anche al lettore uso al complicato sistema di *sokraščenija* russo, e un elenco dei nomi, che permette una consultazione mirata. Da segnalare anche l'inserimento di tabelle che consentono un'agile comparazione di dati e statistiche.

Il volume rappresenta un contributo interessante al tema della censura nell'universo sovietico e dimostra, una volta di più, come lo scopo ultimo fosse quello di un controllo totale del pensiero umano: come la Thought Police orwelliana, però, anche il sistema di censura sovietico non sarebbe riuscito a imbrigliare la creatività e il desiderio di esprimersi dell'uomo e la letteratura sarebbe riuscita comunque a passare, nei modi più diversi, dalle strette maglie della rete censoria.

Giulia Peroni

R. Orlova, L. Kopelev, *My žili v Moskve. Vera v slovo. My žili v Kel'ne*, I-III, Prava Ljudyny, Charkiv 2012, pp. 653-478.

In occasione del centenario dalla nascita di Lev Kopelev, la casa editrice ucraina Prava Ljudyny, diretta da Evgenij (Jevhen) Zacharov, ha deciso di ripubblicare tre testi di questo scrittore: *My žili v Moskve*, in due volumi, *Vera v slovo*, come appendice del secondo volume e *My žili v Kel'ne*, che ne costituisce il terzo. La casa editrice, che fa capo a un'organizzazione per la difesa dei diritti umani di Charkiv (*Char'kovskaja pravozasčitnaja gruppa*, <http://khp.org>) ha già ripubblicato tra il 2010 e il 2011 tre opere autobiografiche di Lev Kopelev: *Chranit' večno*, *Utoli moja pečali* e *I sotvoril sebe kumira*. Tale scelta editoriale è motivata dal fatto che Kopelev, nella seconda parte della sua vita, si è distinto come attivo difensore dei diritti dei più deboli, tanto che nel 1981 gli venne assegnato il *Friedenspreis des Deutschen Buchhandels*.

I libri *My žili v Moskve* e *My žili v Kel'ne*, come suggeriscono i titoli, rappresentano due dimensioni distinte della vita dei Kopelev. Lo spartiacque tra i *due mondi* è l'anno 1980, quando i coniugi intraprendono un viaggio in Germania, autorizzato dal governo sovietico, ma che ben presto si trasforma in un esilio a vita, poiché sono entrambi privati della cittadinanza sovietica. *Vera v slovo* è una

raccolta di saggi, interviste e interventi di L. Kopelev in difesa di dissidenti sovietici e in appendice ad essi è posto il saggio di R. Orlova *Ne iz železa*.

Le vicende editoriali di questi testi sono molto interessanti. Sia *My žili v Moskve* sia *My žili v Kel'ne* furono pubblicati prima in tedesco che in russo: *Wir lebten in Moskau*, questo il titolo tedesco del primo volume, fu pubblicato nel 1987 dall'Albrecht Knaus Verlag, mentre la prima edizione russa avvenne l'anno dopo negli Stati Uniti ad opera della casa editrice Ardis di Ann Arbor. Nel 1990 il testo venne pubblicato anche a Mosca presso *Kniga*, nella serie *Vremja Sud'by*. Queste prime pubblicazioni sono però più brevi rispetto a quella che qui si recensisce: i Kopelev eliminarono a quel tempo tutti i riferimenti agli amici rimasti in Unione Sovietica.

La traduzione tedesca di *My žili v Kel'ne* comparve nel 1996 nell'edizione di *Hoffmann und Campe*, mentre l'originale venne pubblicato in Russia solo nel 2003 dalla moscovita *Fortuna Limited*. Questa versione fu ridimensionata rispetto al manoscritto poiché la casa editrice concesse a Maria Orlova, figlia di Raisa e redattrice del testo russo, un numero limitato di pagine.

I testi raccolti in *Vera v slovo*, infine, furono pubblicati in russo nel 1988 negli Stati Uniti, sempre da Ardis, e solo alcuni di essi furono tradotti in tedesco e inseriti in raccolte diverse. È questa dunque la prima volta che la raccolta originale è pubblicata in un paese in cui il russo è una lingua ampiamente diffusa, il che è stato presentato come uno dei principali motivi di vanto di tale edizione. Ironia vuole che i testi editi da Prava Ljudyny (come del resto tutti i libri pubblicati in Ucraina) non hanno ampia diffusione in Russia, ma sono distribuiti essenzialmente all'interno dell'Ucraina. Il motivo per cui sono stati stampati proprio in Ucraina è probabilmente da ricercarsi nel fatto che il gruppo di Zacharov a Charkiv è particolarmente attivo nell'ambito che riguarda il recupero dell'epoca del dissenso e la difesa dei diritti umani. Il lavoro filologico sui testi è stato compiuto da M. Orlova, la quale da anni si impegna affinché gli scritti dei Kopelev siano diffusi e ristampati.

I volumi sono arricchiti da un apparato iconografico che offre affascinanti fotografie dei Kopelev e delle loro famiglie, degli amici russi e tedeschi. Rispetto alle edizioni precedenti sono state inserite diverse note a piè di pagina, che chiariscono al lettore l'identità dei vari personaggi di cui i Kopelev parlano o di cui ricevono le lettere.

Il primo libro della trilogia, *My žili v Moskve*, è suddiviso in due parti ed è stato scritto tra il 1974 e il 1988. Gli avvenimenti descritti risalgono al periodo che va dagli anni del disgelo fino al 1980, quando i Kopelev partirono per Colonia. I coniugi quindi scrivono *a posteriori*, inserendo nella narrazione passi tratti dai diari che tenevano in quegli anni. Americanista lei e germanista lui, i due facevano parte dell'intelligencija sovietica degli anni poststaliniani e conoscevano tutti i maggiori scrittori e poeti a loro contemporanei. Attraverso la narrazione si ripercorrono i principali avvenimenti degli anni chruščëviani e brežneviani. Molto interessante è scoprire il ruolo fondamentale che Lev Kopelev ebbe nella pubblicazione di *Una giornata di Ivan Denisovič*: Solženicyn consegnò proprio a lui il manoscritto di quest'opera e sarebbe stato Kopelev a consegnarlo a Tvardovskij, il quale lo avrebbe pubblicato su *Novyj Mir*, consacrandolo come testo fondamentale della letteratura del disgelo. Nel libro non si fa cenno del fatto che l'amicizia tra Kopelev e Solženicyn avrebbe avuto un triste epilogo.

La seconda parte di questo primo libro è invece suddivisa in capitoli dedicati ognuno a un personaggio letterario: il primo, più lungo e articolato, racconta dell'amicizia con Anna Achmatova e gli ultimi anni della vita della poetessa; seguono quindi capitoli dedicati a Kornej Čukovskij, Evgenija Ginzburg, alla meno nota Ljudmila Magon, a Pëtr Grigorenko, a Konstantin Bogatyrev, a Elena Zonina; il testo si chiude con un capitolo dedicato all'amico Andrej Sacharov, che i Kopelev sostennero e difesero.

Alla fine del secondo volume sono posti i saggi e gli interventi di *Vera v slovo*, composti tra il 1962 e il 1974. Testi molto diversi tra loro per struttura e contenuto sono uniti, come dichiara il saggio introduttivo, dalla più incondizionata fede dell'autore nella parola. Kopelev cita Achmatova e il suo *carstvennoe slovo* (p. 533) come linea guida di ogni suo scritto. È da ricordare che Kopelev nel 1968 era stato escluso dal Partito e gli fu vietato di pubblicare col proprio nome, per questo motivo i testi qui presentati con datazione successiva al 1968 circolarono in Unione Sovietica solo in forma di samizdat. Degno di nota in questa raccolta è *Vozmožna li rehabilitacija Stalina?*, testo che rappresenta il chiaro allontanamento di Kopelev dalla fede comunista e il rifiuto del culto della personalità di Stalin.

L'ultimo libro, infine, è suddiviso in quattro lunghi capitoli ed è composto in maniera simile rispetto al testo dedicato a Mosca: Kopelev lo compose dopo la morte della moglie nel 1989, accostando brani tratti dal suo diario e da quello di Raisa, e mostrando come i due abbiano percepito in maniera differente gli stessi avvenimenti. Questi stralci sono stati da lui commentati e a essi si sono aggiunte lettere e testimonianze scritte da persone a loro vicine in quegli anni. L'intero secondo capitolo, *Golosa ottuda*, è costituito in questo modo e raccoglie lettere di Michail Aršanskij, Sara Babënyševa, Jurij Maslov, Ivan Rožanskij, Sergej Maslov e la moglie Nina. I corrispondenti si servivano spesso di una *golubinaja pošta* (p. 150): diplomatici, giornalisti o semplicemente amici che viaggiavano tra i *due mondi* e potevano consegnare personalmente le missive. All'interno di questo libro è interessante seguire l'evoluzione del ruolo che la città di Colonia ha giocato per i Kopelev, in particolare per Raisa Orlova. La donna, che non conosceva il tedesco, visse l'allontanamento da Mosca come un violento sradicamento dalla patria. Nonostante questo, Raisa riuscì, lentamente e faticosamente, a inserirsi nel nuovo ambiente e a impararne la lingua: col tempo la Germania divenne così anche per lei un vero e proprio *Zuhause*. Per Kopelev la situazione era ben diversa: egli conosceva perfettamente il tedesco e aveva diversi amici che lo accolsero con gioia già all'arrivo.

In definitiva, i tre testi rappresentano una lettura interessante poiché permettono di accostarsi a grandi nomi della letteratura russa da una prospettiva più intima e vicina, ma soprattutto offrono uno spaccato di vita e cultura sovietica dal punto di vista inizialmente interno di due membri dell'*intelligencija* sovietica e poi da quello forzatamente esterno di due dissidenti loro malgrado.

Sono da segnalare diversi refusi presenti in tutti e tre i libri, frutto di un lavoro di revisione veloce e poco accurato, dovuto al desiderio di fare uscire il libro entro la data del centenario kopeleviano.

Giulia Peroni

Lj. Radenković (ed.), *Common Elements in Slavic Folklore. Collected Papers / Zajedničko u slovenskom folkloru. Zbornik radova*, Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd 2012 (= Posebna izdanja, 117), pp. 440.

As part of the project "National Culture of Serbs, between East and West", a volume of international contributions, *Common Elements in Slavic Folklore*, edited by Ljubinko Radenković (University of Novi Sad), has just been released (Belgrade: SANU). The volume includes the

28 contributions of the participants in the symposium “Common Elements in Slavic Folklore” (Arandelovac-Belgrade, 28 Sept.-2 Oct. 2011).

In the introduction entitled “The Comparative Study of Slavic Folklore” Radenković provides a concise overview of the history of the comparative study of folklore and points out that despite the fading of interest in the study of broad, common themes, the comparative study of cultures of Slavic peoples, however, has not been interrupted, due primarily to some of the scholars whose works are present in this volume.

Certainly, first of all we should mention Svetlana Tolstoja (Moscow) who in her paper “Aspects, Criteria and Features of Slavic Cultural Commonness” presents the ethnolinguistic dictionary “Slavic Antiquities” (1995-2012, voll. 1-5), which has just been completed under her direction, after almost 30 years of work. It is a cardinal work that will surely have its reflection on the further studies of the common elements of Slavic cultures.

In terms of a systematic study of Slavic folklore, Krzysztof Wrocławski (Warsaw) in “Slavonic legends – Problems of Comparative Studies” underlines that the international system for the classification of folk-tales and legends is not adequate for Slavonic material and points out the differences and similarities between Polish and Serbian legends, while Galina Kabakova (Paris) in “‘The Span of Man’s Life’ or Slavic Versions of Æsops’s Fables” analyzes Slavic versions of the folktale, previously classified under the numbers AT-173 and AT-828, and now under number ATU-173, “Human and animal life spans are readjusted”. Věra Froclová (Brno), on the other hand, in “Contributions to the Study of Czech-Slovak-Polish Relations in Carols and the Possibilities of Tectonic Comparative Method” defines a carol in the environment of the Christian West. Some of the issues and classifications of folklore material are presented by Tanas Vrazhinovski (Skopje) who in the paper entitled “Dimo Stenkoski and Yordan Stenkoski: Relationship of Transmission of Tales within Family Circle” analyzes the process of transmission of folktale repertoire from father to son, where several principal stages can be observed; Biljana Sikimić (Belgrade) examines the possibilities for the reconstruction of the riddle text as ‘Slavic’, based on the examples from the classical collection of Serbian riddles ed. by Stojan Novaković (1877).

Formulas and Pan-Slavic curse motifs are analyzed by Ljudmila N. Vinogradova (Moscow) in “Sending to Demons’ where the author presents the results of a comparative analyses of studies carried out on Eastern Slavic as well as Polish and Southern Slavic curse formulas, while Ichiro Ito (Tokyo) in “Sator-formula as an Incantation in Balto-Slavic Written and Folk Tradition” discusses concrete examples and variations of this formula in the Slavic-Baltic area.

A peculiar aspect of research is represented by Tatjana Agapkina and Andrej Toporkov (Moscow) who analyze “Sisinnius Prayers of the East and South Slavs”: it has to do with prayers that were intended to protect infants and women in labour from female demons.

Oksana Mykytenko (Kyiv) considers some terminological aspects of Slavic folklore in comparative view. In her paper “The Problem of Genetic Coincidences and Loan Words in Slavic Folklore: The Ballad about the ‘Sister-Poisoner’” she shows that Slavic ballads are closely related in theme and content, particularly in the Carpathian region. In her paper Ljudmila Popović (Belgrade) offers a fascinating analysis of “Universal and Specific in the Semantic of Colour Terms in Slavic Folklore”.

As far as stylistic aspects are concerned, Lidija Delić (Belgrade) in “Dark Eyes, so as Not to Gaze” focuses on the epic pleonasm and points out the exceptional symbolic potential of the motif of *girls in marginal spaces* in epic poetry, and the *gaze* as a type of specific channel between two worlds.

The complex family relationships in Slavic folklore are analyzed by the following scholars: Larysa Vakhninina (Kyiv) in “Ukrainian-Polish Comparisons in the Folk Ballad ‘Oj, Stalasya Novyna’

(Oh, We Have the News)” analyzes the ballad, the ancient plot of which tells of a woman who killed her husband and buried him in the garden, but then dies at the hands of the dead man’s brothers; Dejan Ajdačić (Kyiv) in “Conflict between Brothers in Slavic Folk Songs” presents the folk ballads and ballad songs of Southern and Eastern Slavs and the motif of conflict between brothers, demonstrating the presence of different versions of the motif in various Slavic traditions. Folk literature about marital relationship is also explored by Gordana Blagojević (Belgrade) in “Marrying a Fairy and a Nereid: South Slavic-Greek Folk parallels”: she comparatively analyzes the similarities and differences between folk motifs in their South Slavic and Greek contexts.

The papers about animals in Slavic folklore are also of great interest: Tatjana Volodina (Minsk) in “Charm against Worms in the Wounds: Belarusian Folkloric Tradition against the European Background” addresses the study of a functional thematic group of Belarusian charms and compares them to examples from other Slavic, Baltic, and Germanic charm traditions; Andrey Moroz (Moscow) in “Some Notes on the Origin of a Legend of Deer Sacrifice” examines possible sources of the legend about a deer that every year comes voluntarily to be sacrificed; Marfa Tolstaya (Moscow) in “Towards the Carpathian-South Slavic Parallels: Popular Beliefs about the First Spring Birds” focuses on those folk beliefs according to which it is considered unlucky to hear the cry of the first spring birds while fasting; Bojan Jovanović (Belgrade) analyzes numerous common features in “Serpent Symbolism in Folk Tradition of the Balkan Slavs”; the editor of the volume, Ljubinko Radenković (Belgrade) analyzes “Mythological Elements in Slavic Notions on Frogs”.

On a more solemn note, Katya Mihaylova (Sofia), explores the genetic similarities in the “Notions about Death in the Language and Folklore of Bulgarians and Poles”, a thematic which shares many similarities to the motif dealt with by Iryina Koval-Fuchylo (Kyiv) who in “East-Slavic Lamentations: The Modes of Transmission (A Look from within Tradition)” analyzes the transmission of knowledge about performing funeral lamentations.

Other themes of the folklore of two or more Slavic peoples are comparatively studied by: Boško Suvajdžić (Belgrade) who analyzes “Types of the Ill Hero in the Serbian and Bulgarian Oral Poetry” with its common points, interrelationships and characteristic similarities; Hana Hlůšková (Bratislava) who, in “Slovak-Czech-Moravian Parallels of Legend Cycle about Sleeping Army on a Mountain”, compares and points out differences in opinions about the protector of a nation during the time when that nation was being threatened; Miloš Luković (Belgrade) analyzes “Sayings and Proverbs of the Balkan Slavs in Bogišić’s Publications on Legal Customs” (1874), and Žarko Trebješanin (Belgrade) describes and analyzes “Symbolism of Dreams” in Serbian-Russian folkloric material.

The author of the last paper of this volume is Branko Zlatković (Belgrade); in his paper “The Slavdom in the Anecdotes of the 19th Century” he investigates his peculiar kind of oral communication, that took over the entire Slavic area and found suitable resonance in politics, historiography, artistic literature and oral story-telling heritage of most Slavic peoples.

The volume of proceedings under consideration, which counts over 400 pages, gives an excellent representation of the impressive research project organized by the editors. It also testifies to the continuation of the studies in the field of Slavic culture and is of immeasurable value for further studies. Its quality of research and the amount of data presented open up new questions and new paths for further comparative studies of Slavic folklore.

“Slavica Viterbiensia. Periodico di letterature e culture slave della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell’Università della Tuscia”, diretto da R. Caldarelli e O. Discacciati, III, 2010, pp. 187.

Il terzo numero del periodico si caratterizza per l’impronta comparativo-contrastiva degli articoli, imperniati sulla tematica dell’Oriente, rappresentato soprattutto dall’Asia centrale, dal Caucaso e dalla Turchia, e visto prevalentemente attraverso lo sguardo di studiosi dei paesi slavi. Scelta opportuna in un momento in cui le sorti dello studio delle lingue e culture “minori” nell’Europa globalizzata restano incerte, come evidenziato anche nel corso dei Simposi degli slavisti svoltisi negli ultimi tre anni a Mosca (MGU).

Molti degli autori degli undici contributi qui presentati, scritti in polacco, ceco, inglese e italiano, provengono da Università meno note dei paesi slavi: Blümlová, Jiroušek-Halamová, Rauchová da České Budějovice nella Boemia meridionale; Klímová da Opava (Slesia); Chyra-Rolicz, Kur dalla Podlachia (Siedlce); Prykowska Michalak da Łódź; Polonskij da Belgorod (Federazione Russa).

Fra gli articoli più significativi ricordo l’analisi di un viaggio in Turchia fatto dal *tramp* ceco Bob Hurikán, di D. Blümlová, e quella di B. Jiroušek e M. Halamová sul viaggio dello scrittore Josef Šach a “Cargrad”. Il viaggio del primo, il cui vero nome è Josef Peterka (1917-1965), compiuto nel 1930, offre una percezione fresca e non convenzionale, quale è espressa nelle sue opere, *Trampen do Orientu*, 1932, e *Kouzlo hašiše. Trampský román*, 1936. Le impressioni di J. Šach (1886-1974), pubblicate nel 1935 (*Z Varny do Caribradu*) costituiscono una descrizione pittoresca, letterariamente raffinata, di una cultura e di un’arte islamica ormai “decaduta” rispetto alle vette raggiunte in passato.

Meno ‘esotico’ risulta il saggio di Z. Chyra-Rolicz, *Związki kulturalne pomiędzy Polską i Włochami (X-XX ww.)* (Le relazioni culturali tra la Polonia e l’Italia: secc. X-XX), il più ampio della miscellanea: un panorama di dieci secoli di interazione culturale tra i due Paesi. Dal regno dei Piast, alla cultura jagellonica, fino al recente pontificato di Giovanni Paolo II e all’attuale globalizzazione della vita culturale in Polonia, l’autrice ricostruisce, con dovizia di dati concreti e informazioni dettagliate, un tessuto fitto, ricchissimo di scambi ed influssi, di viaggi d’istruzione, di opere frutto dell’attività di artisti italiani in Polonia (architetti, scultori, pittori, musicisti), fino alla formazione della *Legione polacca* di Mickiewicz e all’ispirazione italiana in T. Lenartowicz e H. Sienkiewicz. Il contributo offre una visione sintetica di questa pagina della cultura europea, utile anche per studenti di slavistica.

A temi ‘orientali’ è dedicato l’articolo di U. Persi, *Carlo Levi in Armenia e Georgia*. Con la raffinata scrittura artistica che gli è propria l’A. scrive delle impressioni del viaggio in URSS compiuto da Levi nel 1955, del quale il pittore-scrittore stila un resoconto nel libro *Il futuro ha un cuore antico*, 1956. Nell’inedita festa di “colore locale” e quadri pittoreschi di vita quotidiana Levi coglie come il Sud, l’Armenia e la Georgia, costituiscano per la Russia l’Oriente, un orientalismo interno della Russia. Bidimensionalità, compattezza russa-sovietica opposta alla tridimensionalità, fluidità, mollezza, lentezza, atemporalità del Caucaso. Le descrizioni dello “struscio” a Tbilisi, del variopinto mercato di Erevan o della cena offerta nella casa di una sola stanza alla piccola delegazione dal direttore del kolchoz armeno ricordano a Levi – vero pittore e vero scrittore – quell’ibrido di Sud ed Est che traspare anche “dai visi intensi dei siciliani”; così come il silenzio e la solitudine di pietra del paesaggio del Lago Sevan gli richiamano “un antico, immobile paesaggio della Lucania”.

Singolare e pregevole è il contributo di A. Polonskij “*Novaja Pol’sa*” e *l’Oriente della Russia*. La rivista “*Novaja Pol’sa*”, fondata nel 1999 da J. Pomianowski, ben noto in Italia come traduttore e docente, è indirizzata “all’*intelligencija* e *l’élite* dell’opinione pubblica polacca”. Polonskij si sofferma

sui contributi della rivista che hanno come oggetto l'Oriente della Russia, ossia le terre poste a sud e che tuttavia rientrano nel concetto di "Oriente", come le ex-repubbliche sovietiche del Kazachstan, dell'Uzbekistan e della Georgia. In più di quaranta contributi l'A. tratta della presenza di polacchi o discendenti di polacchi nei territori sovietici, sulla base di diari, relazioni di viaggi e ricordi. I prigionieri politici polacchi, colpiti dalla repressione staliniana degli anni '30 nell'Ucraina sovietica furono ben accolti in Kazachstan, conservavano viva la propria identità e costituivano una presenza attiva. In Georgia esiste ancora oggi una *Scuola polacca di Tbilisi*. Da notare quattro articoli (di A. Kuczyński) dedicati alle vite travagliate e avventurose dei deportati polacchi in Siberia, raccontate nelle affascinanti *Memorie della prigionia, delle città e dei paesi moscoviti* di Adam Kameński-Dłużyk, che restò a Jakutsk dal 1664 al 1668, sulla vita e i costumi dei tungusi e degli jakuti. E soprattutto l'articolo *On Sibiri ne bojalsja* sul destino di A. Czekanowski (1833-1876), destino che ci pare "esemplare" di quella organica appropriazione-incorporazione del prezioso apporto degli stranieri alla storia e alla scienza nazionale costante nella prassi storica russa. Deportato in Siberia in seguito all'insurrezione del 1863, vide riconosciute poi le sue qualità di eminente geologo, divenne membro della Società geografica russa nella sezione della Siberia orientale di Irkutsk. Partecipò a spedizioni geologiche, tracciò le carte geologiche del Basso Bajkal, scoprì preziosi giacimenti di minerali e ottenne la medaglia d'oro della Società geografica russa, e nel 1875 un'onorificenza all'Esposizione internazionale di geografia di Parigi. Le sue osservazioni e i suoi lavori sui territori dello Enisej, della Lena e della Jakuzia, sull'etnografia, sulla linguistica delle popolazioni dell'Asia russa rivestono importanza internazionale. Sono state pubblicate in russo (a Kemerovo nel 2007) le memorie *Sibirskoe licholet'e* del nobile polacco deportato in Siberia Sz. Tokarzewski (ne scrive Marek Karpiński). Non meno interessante e istruttivo sarebbe studiare, auspica Polonskij, l'opera letteraria di autori polacchi sull'Oriente della Russia: racconti, poesie, articoli apparsi sulle pagine della rivista "Novaja Pol'sa". La rivista spera di superare, con lodevole sforzo, la sensibilità ancora viva per i "nervi scoperti" dei rapporti tra Polonia e Russia.

Alla cultura e alla politica sono dedicati gli articoli successivi. K. Prykowska Michalak (*Mental Map of the Eastern Europe and its Cultural Stigmata*, conclude icasticamente: "The Eastern Europe will exist as long as we will continue to mark it with stigma of totalitarianism and post-Communism, which occurred in various parts of the world – not only in the Old Continent". In *Le trasformazioni dell'influenza della teoria del teatro moderno sovietico sull'attività teatrale ceca* (in ceco), J. Rauchová illustra l'interesse del teatro ceco per le innovazioni teatrali introdotte da Stanislavskij, Vachtangov, Mejerchol'd, Tairov e fino al *Proletkul't* degli anni Trenta, poi il dominio del realismo socialista che raggiunge anche la scena cecoslovacca. Ancora J. Rauchová scrive del *Ruolo di Istanbul nella diplomazia cecoslovacca-sovietica nella Seconda guerra mondiale*, pagina concitata della politica estera cecoslovacca dopo l'occupazione tedesca. allorché Istanbul costituì il centro della resistenza cecoslovacca attorno alle personalità di H. Píka (1897-1949), in contatto l'ex-presidente E. Beneš, ma anche in rapporto con la diplomazia sovietica.

All'oriente ci riporta Mustafa Soykut, dell'Università Tecnica Ankara. Lo studioso guarda all'occidente dal punto di vista ottomano, in cui vede certe affinità col cesaropapismo bizantino, ne illustra soprattutto le peculiarità giuridiche di origine asiatica centrale dell'impero dei sultani e della loro amministrazione dei Balcani. Ricorda infine i primi "turcologi" veneziani: Francesco Sansovino, 1573; Giambattista Donà, 1688; Giambattista Toderini, 1787.

Ad un vicino "oriente polacco" ci riporta E. M. Kurche analizza la poesia di T. Chrzanowski, l'eminento storico dell'arte, cracoviano dei *kresy*, formatosi a Leopoli. Le sue "peregrinazioni" poetiche (*Wędrowki pięknoducha*, 1951, *Pożegnanie lata*, 1957 ed altre raccolte) evocano lo spirito eletto

dell'antica cultura nobiliare polacca, la storia, i paesaggi, gli uomini, l'arte di una mappa geografico-artistica della Polonia che va da Zielona Góra a Gdańsk, Reszel, da Crakovia, Sandomiersz e Tarnów a Breslavia, ed altri "luoghi sacri della memoria" nazionale.

Di tema prettamente linguistico è lo studio di E. Klímová *On Semantic Scales in Italian in Comparison with English and Czech*, che vede il dinamismo comunicativo degli elementi dell'enunciato come risultato di quattro fattori interdipendenti: l'ordine delle parole, il contesto, la semantica e, nel parlato, l'intonazione. La studiosa conclude che le differenze nelle tre lingue si devono all'impatto che le regole grammaticali delle tre lingue hanno sulla funzione semantica dinamica del singolo elemento della frase, sia per quanto attiene alla "scala di presentazione", che per quanto attiene alla "scala di qualità". In italiano (per la flessione verbale e pronominale) e in ceco (per il carattere eminentemente flessivo), la prospettiva funzionale dell'enunciato è essenzialmente "lineare". In inglese essa è influenzata dalla grammaticalizzazione dell'ordine delle parole. Vorrei aggiungere che, a monte del confronto si debba porre la tipologia linguistica. Al confronto tra italiano e ceco si potrebbe ad es. sostituire il francese e il russo per l'ordine delle parole da un lato in russo e in ceco, per la resa dell'articolo determinativo/indeterminativo del soggetto dall'altro in francese, come in italiano.

Pur vario, questo terzo numero di "Slavica Viterbiensia" presenta notevole interesse per l'originalità dei contributi che hanno un loro filo conduttore tematico unitario. Potrebbe utilmente essere utilizzato anche per trasmettere conoscenze inedite ai nostri studenti. L'apposizione di riassunti in inglese favorirebbe d'altra parte una migliore conoscenza da parte di un più ampio pubblico di lettori per i quali, come sappiamo, le lingue dei *nuovi advenae* nell'UE rimangono spesso un ostacolo difficilmente superabile.

Claudia Lasorsa

D. Ferrari-Bravo, E. Treu, *La parola nella cultura russa tra '800 e '900. Materiali per una ricognizione dello slovo*, Tipografia Editrice Pisana, Pisa 2010, pp. XLVI-513.

L'attenzione alla cultura dello *slovo* è sempre stata uno dei punti focali nella ricerca di Donatella Ferrari-Bravo. Lo dimostrano gli ultimi due volumi: *Слово, geometrie della parola nel pensiero russo tra '800 e '900* (Pisa 2000) e questo *La parola nella cultura russa tra '800 e '900. Materiali per una ricognizione dello slovo* (Pisa 2010). Curato in collaborazione con Elena Treu, il volume qui recensito presenta un'antologia di testi di alcuni studiosi russi tra i più insigni sull'argomento, costituendo così una sorta di integrazione del primo. L'interesse di questa antologia è reso maggiore dal fatto che raccoglie i contributi di studiosi che hanno lavorato in campi tra loro diversi.

È ben noto che il termine *slovo* costituisce una delle immagini più pregnanti e polivalenti del mondo culturale russo, che spazia dal *Verbo* di Giovanni al *Cantare* della Schiera di Igor' ai *sermoni* dell'omiletica medievale. Tra Ottocento e Novecento pochi filologi, filosofi e linguisti non hanno indagato il concetto di *parola* e il suo rapporto con la cultura. Già nell'Introduzione a *Слово* (2000) D. Ferrari-Bravo ricostruiva una linea ininterrotta di ricerca, un legame preciso tra i "patriarchi" della cultura filologica ottocentesca e gli studiosi del Novecento, rappresentata da chi, come Jakobson, Tynjanov, Vinokur, Vinogradov, Grigor'ev e, in un certo senso, Lotman, ha coniugato l'indagine sull'opera letteraria con la sua lettura linguistica. Di qui a constatare che *slovo* è tutto ciò che è cul-

tura (intesa come patrimonio specifico di un popolo), il passo è stato breve. Per tentare di uscire da questo groviglio di concetti, per osservare più da vicino il mondo russo, per capirne la complessità e, in molti casi l'incomprensibilità, è indispensabile seguire un tracciato, quale, appunto, quello proposto dall'Antologia *La parola nella cultura russa tra '800 e '900* qui presentata.

Due immagini aprono e chiudono emblematicamente il libro, esplicitandone i punti chiave: in copertina un grafico del sistema atomico racchiude in cerchi concentrici di vari colori i motivi principali associati alla parola: segno, cosmo, suono, ritmo; nell'altro disegno l'albero schleicheriano è costituito dall'intrecciarsi dei rami connessi con le discipline filosofiche e concettuali sulle quali si fonda il lavoro delle autrici.

Nella Nota introduttiva (pp. XIX-XLVI) D. Ferrari-Bravo, oltre a un quadro complessivo delle tematiche implicate nel concetto di *stvo*, presenta i principi sui quali si è basata la complessa scelta degli autori e dei testi. Si trattava di rendere omogeneo e comprensibile nelle dimensioni di un volume, sia pur di non trascurabili dimensioni, la complessità di significati, di approcci e di concetti – filosofici, filologici, linguistici, semiotici – che sembra a volte rendere inestricabile il nodo che avvolge la parola.

Alla Nota introduttiva seguono tre parti, la prima intitolata "I testi", la seconda "Antologia della critica", la terza "Passi scelti" (con originale russo a fianco).

"Testi" sono quelli dei "padri fondatori" del pensiero linguistico-filologico russo. Tra di essi ne troviamo alcuni già tradotti in italiano e presenti in altre miscellanee (per esempio "Lezione VIII: la parola non comunica il pensiero" di A.A. Potebnja, "Il problema del testo nella linguistica, nella filologia e nelle altre scienze umane" di M. Bachtin; "Resurrezione della parola" di V.B. Šklovskij, "Il concetto di lingua poetica" di G.O. Vinokur), altri tradotti e presentati ex novo, come quello di A.S. Askol'dov ("Il concetto e la parola") e quello di V. V. Vinogradov ("La parola e il significato come oggetto di ricerca storico-lessicologica"). Tutte le traduzioni dei testi presentati sono state comunque rivedute da Elena Treu. A lei va anche il merito delle note traduttologiche ed esplicative, così come ogni bibliografia specifica. I testi di ogni singolo autore, inoltre, sono corredati da note bibliografiche di 5-6 pagine, la cui cura è suddivisa tra Ferrari-Bravo e Treu. Chiude la prima parte una "Bibliografia generale", dove sono raccolti i titoli delle principali miscellanee uscite in Russia su storia e teorie linguistiche.

Nella seconda parte, "Antologia della critica", sono presentati brani di autori della generazione più giovane, in parte sinora sconosciuti in Italia. Questi brani sono più strettamente inerenti alla questione della *parola*: citiamo a mo' di esempio "Il concetto di parola nella lingua russa contemporanea" di I.B. Levontina, "La parola autoattorta" di V.P. Grigor'ev (uno dei maggiori studiosi di V. Chlebnikov), "La parola" di Ju. S. Stepanov, tratto dal suo "Concettuario della lingua russa". Tutti gli autori (oltre a Levontina, Grigor'ev e Stepanov, ricordiamo qui N.K. Boneckaja, N.K. Gej e Anna Maria Han) sono tradotti e presentati da Elena Treu.

La terza parte dell'antologia (che presenta testo russo e traduzione italiana a fronte) è suddivisa in tre sezioni, relative a diversi concetti connessi con la *parola*: Pensiero – parola – mito – metafora; La parola e il nome come energia creatrice; La parola e la cultura. Questi "Passi scelti" sono stati raggruppati, spiegano le autrici, per affinità culturologico-tematiche. A margine delle brevi citazioni sono riportate le parole chiave che le caratterizzano. Oltre all'utilità pratica di ritrovarle vicine le une alle altre nella versione russa e in traduzione, questo lavoro aiuta a spiegare il principio costruttivo di tutta l'Antologia attraverso l'esame delle concatenazioni che caratterizzano ogni singolo studioso. I concetti danno vita alle parole e ogni singola parola realizza un concetto che si concatena in modo diverso nella rappresentazione filologico-filosofica di ciascun autore.

Le Appendici completano l'opera in uno sforzo di sistematizzazione logica e visuale. Un primo elenco presenta i concetti riferiti ai tre ambiti semiotico-filologico, magico-religioso e filosofico-sociologico: ad ogni parola sono stati associati i termini e le parole con le quali essa si concatena e l'autore che vi ha fatto riferimento. In certi casi, per esempio *forma*, solo un complesso sistema di sottoinsiemi riesce a dare conto delle associazioni logiche attraverso le quali un singolo autore si lega ad un altro. Un secondo elenco presenta gli orientamenti filosofici fondamentali all'interno dei quali viene elaborato il concetto di *parola*. Ad ogni voce sono qui associati gli autori che l'hanno trattata. Al centro di ogni riflessione sta sempre la *parola*, rappresentata graficamente dall'albero summenzionato, che significativamente affonda le radici nella "madre-umida-terra".

Il lavoro di D. Ferrari-Bravo ed E. Treu nasce dalla grande esperienza filologico-letteraria in ambito russo della prima, e dalle innegabili qualità di traduttrice specializzata della seconda. Si tratta di un'opera di grande impegno e di tali dimensioni che risulterà di sicuro interesse per il lettore "addetto ai lavori". Una presentazione grafica più snella l'avrebbe resa forse più fruibile da parte di coloro che, in veste di studiosi o di studenti, la potrebbero utilizzare anche come fonte d'informazione e manuale di riferimento per la cultura russa.

Francesca Fici

G. Mitrinov, *Južnorodopskite bălgarski govori v Ksantijsko i Gjumjurdžinsko (po danni ot pomaško-grăcki rečnik na Petros Teoharidis – Solun 1996)*, Fondacija VMRO, Sofija 2012 (2011¹), pp. 276.

Il lavoro qui recensito di Georgi Mitrinov sulle parlate dei Rodopi meridionali (oggi greci) nella zona di Xanthi e Komotini (in bulgaro Gjumjurdžina) è a sua volta una recensione tardiva, e fortemente critica, di un'opera dello studioso greco Petros Theoharidis dal titolo *Ellino-Pomakiko lexiko* ("Dizionario greco-pomacco") pubblicata a Salonico nel 1996 (Aigeiros, Thessaloniki 1996).

Intento di Mitrinov è quello di confutare l'interpretazione greca secondo cui la popolazione pomacca presente nel territorio greco costituirebbe una realtà etnica distinta dalla popolazione bulgara e utilizzerebbe un idioma slavo autonomo, non direttamente legato ai dialetti bulgari dei Rodopi: l'autore utilizza il materiale fonetico, morfologico, sintattico e lessicale contenuto nel dizionario di Theoharidis per rovesciarne l'assunto, e dimostrare quindi il carattere bulgaro delle parlate pomacche dei Rodopi.

A tal fine l'autore procede a:

- mappare le varianti dialettali presenti nell'area dei Rodopi greci;
- comparare le caratteristiche delle parlate in questione con quelle dei Rodopi bulgari, della Tracia greca e dei "*rupski govori*", per dimostrare il *continuum* linguistico dei dialetti bulgari sud-orientali;
- dimostrare il forte legame linguistico presente tra i bulgari cristiani e quelli mussulmani che abitano i Rodopi;

- analizzare le tendenze di sviluppo delle parlate dei Rodopi bulgari e metterle a confronto con i tratti più arcaici di quelle dei Rodopi greci, considerando l'isolamento linguistico e l'influenza del contatto con le lingue greca e turca;
- indagare attraverso l'analisi lessicale fino a che punto i dialetti studiati abbiano conservato elementi linguistici e lessicali dello Slavo Ecclesiastico Antico.

Nell'introduzione e nel primo capitolo vengono forniti ragguagli geografico-storici sulla zona dei Rodopi, seguiti da una disamina storica dei flussi migratori nella penisola e da considerazioni sul carattere autoctono delle popolazioni già presenti nell'area.

Il secondo capitolo si focalizza sui differenti nomi utilizzati per identificare i mussulmani dei Rodopi e in particolare sull'etnonimo *abrijane*, dalla discussa etimologia. I greci vorrebbero legare la sua origine al nome dell'antica tribù peonia-tracica degli *agriani* (dal greco antico *agrianes*, popolo riportato anche nelle cronache di Strabone e Livio), mentre gli studiosi turchi lo fanno derivare da *aren*, col significato di "uomo", ad indicare la mascolinità dei turchi presenti nella zona. Infine una terza ipotesi, di origine turco-araba o persiana, la riconduce alla parola *aharjan*, dal significato di "territorio annesso o sottomesso successivamente". L'autore preferisce utilizzare il termine *bългароезиčni mjesulmani*, che fornisce una connotazione linguistico-confessionale, e non etnica, alle genti che vivono in territorio greco, anche se considera la definizione data dal *Bългарски етимологичен речник*, secondo la quale *abrijane* deriva dal nome medievale della regione dei Rodopi orientali *Abrid* (gr. *Abridos*) come attendibile.

Il terzo capitolo è dedicato all'oggetto centrale dell'analisi di Mitrinov, ovvero la cosiddetta "lingua pomacca". Come nel caso dell'etnonimo l'autore è critico verso la confusione terminologica che scaturisce anche dalla varietà di denominazioni come *pomakiki glossa*, la lingua pomacca o *glossa ton Pomakon*, la lingua dei pomacchi, *abrenskijat dialekt*, il dialetto degli agriani, *abrenskijat ezik*, la lingua agriana, etc.

I capitoli successivi descrivono le caratteristiche fonetiche delle parlate bulgare dei Rodopi greci (pp. 61-88), la morfologia (pp. 89-132), la sintassi (pp. 132-138), il lessico (pp. 138-235) e il lessico arcaico derivato dallo Slavo Ecclesiastico Antico (pp. 235-253) incluso in un breve dizionario.

Particolarmente dettagliato si presenta il capitolo dedicato al lessico (pp. 138-235), nel quale sono descritti i termini legati alla parentela, ai riti del fidanzamento e del matrimonio, alle parti del corpo umano, al cibo, al vestiario, alle parti del giorno, all'amicizia, alla religione, alla flora e alla fauna, alle attività lavorative, alla agricoltura, alla casa, alle erbe medicinali, e altre ancora.

Il capitolo conclusivo (pp. 254-259) del volume riafferma in breve le posizioni dell'autore riguardo al materiale analizzato da Theoharidis, e quindi il carattere bulgaro delle parlate pomacche dei Rodopi.

Segue un indice dei toponimi e delle abbreviazioni riportate nel testo (pp. 260-269). La bibliografia è ampia e ricca, anche se occorre segnalare l'assenza di alcuni lavori dell'ultima decade, dedicati soprattutto allo studio delle parlate dei Rodopi meridionali, e di importanti articoli apparsi su riviste internazionali.